

ДОМ ДУШ

Великий Бог Пан



А. МЕЙЧЕН

Артур Мэйчен

Дом душ. Великий бог Пан

«Автор»

2025

Мэйчен А.

Дом душ. Великий бог Пан / А. Мэйчен — «Автор», 2025

Артур Мейчен (1863–1947) — один из самых загадочных и влиятельных писателей рубежа веков, чье творчество заложило фундамент современного жанра «вирд» (weird fiction) и космического ужаса. Г.Ф. Лавкрафт называл его своим учителем, а Стивен Кинг считал его прозу эталоном психологического хоррора. Перед вами — знаменитый сборник «Дом душ» (The House of Souls), впервые опубликованный в 1906 году. В книгу вошли знаковые произведения автора. «Великий бог Пан» — скандальная повесть об эксперименте, открывшем дверь в запретную реальность. «Белые люди» — история, которую многие критики называют «величайшим рассказом о колдовстве в английской литературе». «Сокровенный свет» — мрачная хроника похищения человеческой души ради науки. «Фрагмент жизни» — мистическая драма о том, как чудесное вторгается в серые будни Лондона.

© Мэйчен А., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Введение	5
Фрагмент жизни	10
I	10
II	24
III	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Артур Мэйчен

Дом душ. Великий бог Пан

Введение

Где-то, я думаю, осенью 1889 года мне пришла в голову мысль, что, возможно, стоит попробовать писать в современной манере. Ибо до тех пор я носил в литературе, так сказать, маскарадный костюм. Богатый, витиеватый английский язык первой половины семнадцатого века всегда обладал для меня особой притягательностью. Я приучил себя писать и думать на нём; я вёл дневник в этой манере и полубессознательно облекал свои повседневные мысли и обыденные переживания в одеяния кавалера или каролинского богослова. Так, когда в 1884 году я получил заказ на перевод «Гептамерона», я совершенно естественно писал на языке моего любимого периода и, как заявляют некоторые критики, сделал свою английскую версию несколько более архаичной и строгой, чем оригинал. Таким образом, «Анатомия табака» была упражнением в античном стиле иного рода; «Хроника Клеменди» – сборником рассказов, изо всех сил старавшихся быть средневековыми; а перевод «Способа преуспеть» – всё ещё вещью в старинном духе.

Словом, казалось предreshённым, что в литературе мне суждено быть приживалой ушедших веков; и я не совсем понимаю, как мне удалось от них отделаться. Я закончил переводить «Казанову» – вещь более современную, но не вполне идущую в ногу со временем, – и у меня не было ничего конкретного в работе, и так или иначе мне пришлось в голову, что я мог бы попробовать немного пописать для газет. Я начал со статьи для первой полосы, как это тогда называлось, для старой, канувшей в Лету «Глоуб» – безобидной статейки о старых английских пословицах; и я никогда не забуду своей гордости и восторга, когда однажды, будучи в Дувре, где с моря дул свежий осенний ветер, я купил случайный номер газеты и увидел своё эссе на первой странице. Естественно, это побудило меня продолжать, и я написал ещё несколько статей для «Глоуб», а затем попробовал силы в «Сент-Джеймс Газетт» и обнаружил, что там платили два фунта вместо гинеи в «Глоуб», и, опять же, вполне естественно, посвятил большую часть своего внимания «Сент-Джеймс Газетт». От эссе или литературных очерков я как-то перешёл к коротким рассказам и написал их немало, всё ещё для «Сент-Джеймс», пока осенью 1890 года не сочинил рассказ под названием «Двойное возвращение». Что ж, Оскар Уайльд спросил: «Это вы автор того рассказа, что встревожил голубятни? Я нахожу его очень хорошим». Но он действительно встревожил голубятни, и мы с «Сент-Джеймс Газетт» расстались.

Но я продолжал писать короткие рассказы, теперь в основном для так называемых «светских» газет, которые ныне вымерли. И один из них появился в газете, название которой я давно забыл. Я назвал рассказ «Resurrectio Mortuorum», а редактор очень разумно перевёл заглавие как «Воскресение мёртвых».

Я не очень хорошо помню, как начинался рассказ. Склонен думать, что примерно так:

«Старый мистер Ллевеллин, валлийский антиквар, швырнул утреннюю газету на пол и стукнул кулаком по столу для завтрака, воскликнув: „Боже милостивый! Последний из Кара-доков из Гарта женился в баптистской часовне, обвенчанный проповедником-диссидентом, где-то в Пекхэме!“» Или же я начал повествование через несколько лет после этого счастливого события и показал совершенно весёлого, довольного жизнью молодого клерка, который однажды утром слишком торопился на омнибус, весь день чувствовал себя одурманенным на работе, возвращался домой в каком-то тумане, а затем, у самого порога своего дома, обрёл, так сказать, своё родовое сознание. Думаю, именно вид жены и тон её голоса внезапно, словно трубный глас, возвестили ему, что он не имеет ничего общего ни с этой женщиной с акцентом

кокни, ни с пастором, который придёт к ужину, ни с виллой из красного кирпича, ни с Пекхэмом, ни с лондонским Сити. Хотя старое поместье на берегу Аска было продано пятьдесят лет назад, он всё равно был Карадоком из Гарта. Я забыл, чем закончил рассказ, но вот один из истоков «Фрагмента жизни».

И так или иначе, хотя рассказ был написан, напечатан и оплачен, он оставался со мной как наполовину рассказанная история в годы с 1890 по 1899-й. Я был влюблён в эту идею: этот контраст между новым, безликим лондонским пригородом с его убогой, ограниченной жизнью и ежедневными поездками в Сити, его полной банальностью и незначительностью – и старинным серым домом с горбыльковыми переплётами под сенью леса у реки, гербовыми щитами на крыльце в яковинском стиле и благородными древними традициями; всё это пленило меня, и я время от времени думал о своём неудачно рассказанном сюжете, пока писал «Великого бога Пана», «Красную руку», «Трёх самозванцев», «Холм сновидений», «Белых людей» и «Иероглифы». Полагаю, всё это время он сидел у меня в подсознании, и наконец в 99-м я начал писать его заново, с несколько иной точки зрения.

Дело в том, что в одно серое воскресенье в марте того года я отправился на долгую прогулку с другом. Я тогда жил в Грейс-Инн, и мы бесцельно бродили вверх по Грейс-Инн-роуд, совершая одну из тех странных, ненаучных вылазок в причудливые уголки Лондона, которые я всегда обожал. Не думаю, что у нас был какой-то определённый план, но мы устояли перед множеством соблазнов. Ибо справа от Грейс-Инн-роуд находится один из самых странных кварталов Лондона – для тех, разумеется, у кого глаза не запечатаны. Здесь есть улицы 1800–1820-х годов, которые спускаются в долину – Флора из «Крошки Доррит» жила в одной из них, – а затем, пересекая Кингс-Кросс-роуд, очень круто поднимаются на высоты, которые всегда наводят меня на мысль, что я нахожусь на задворках, в бедном квартале какого-нибудь большого приморского города и что с чердачных окон открывается прекрасный вид на море. Это место когда-то называлось Спа-Филдс и, что вполне уместно, одной из его достопримечательностей является старый молитвенный дом Общины графини Хантингдонской. Это одна из тех частей Лондона, которые привлекли бы меня, если бы я захотел спрятаться; не для того, чтобы избежать ареста, пожалуй, а скорее, чтобы избежать возможности когда-либо встретить кого-то, кто видел меня раньше.

Но мы с другом устояли перед всем этим. Мы дошли до развилки у вокзала Кингс-Кросс и смело двинулись вверх по Пентонвиллю. Снова слева от нас был Барнсбери, который подобен Африке. В Барнсбери *semper aliquid novi* (всегда есть что-то новое), но наш курс был проложен некой оккультной силой, и мы пришли в Ислингтон и выбрали правую сторону пути. До сих пор мы находились в более или менее известной области, поскольку каждый год в Ислингтоне проходит большая выставка скота, и многие люди туда ездят. Но, свернув направо, мы попали в Кэнонбери, о котором существуют лишь рассказы путешественников. Время от времени, возможно, когда сидишь у зимнего камина, пока за окном воеет буря и валит снег, молчаливый человек в углу расскажет, что у него была двоюродная бабушка, жившая в Кэнонбери в 1860 году; так и в XIV веке можно было встретить людей, говоривших с теми, кто побывал в Китае и видел великолепие Великого Хана. Таков Кэнонбери; я едва осмеливаюсь говорить о его тусклых скверах, о глубоких, тенистых садах за домами, спускающихся в тёмные переулки с потайными, таинственными калитками; как я уже сказал, это «рассказы путешественников», вещи, которым не слишком верят.

Но тот, кто отваживается на приключения в Лондоне, вкушает предвестие бесконечности. Существует край и за пределами Ultima Thule¹. Не знаю как, но в тот знаменитый воскресный день мы с другом, пройдя через Кэнонбери, попали на нечто под названием Боллс-Понд-роуд – мистер Пёрч, посыльный из «Домби и сына», жил где-то в этих краях, – а оттуда,

¹ край света

я думаю, через Далстон спустились в Хакни, откуда караваны, или трамваи, или, как, я думаю, вы говорите в Америке, «троллейбусы», отправлялись в определённые часы к границам западного мира.

Но в ходе той прогулки, которая превратилась в исследование неведомого, я увидел две обычные вещи, произведшие на меня глубокое впечатление. Одной из них была улица, другой – небольшая семья. Улица находилась где-то в том туманном, не нанесённом на карту регионе Боллс-Понд-Далстон. Это была длинная и серая улица. Каждый дом был точной копией другого. В каждом доме был цокольный этаж, который агенты по недвижимости в последнее время стали называть «нижним первым этажом». Передние окна этих цокольных этажей наполовину возвышались над клочком чёрной, измазанной сажей земли и грубой травы, что имела себя садом, и поэтому, проходя мимо в четыре или в половине пятого, я мог видеть, что в каждой из этих «комнат для завтрака» – их техническое название – уже были готовы подносы с чайными чашками. От этого тривиального и естественного обстоятельства у меня возникло впечатление унылой жизни, выстроенной в жуткие, однообразные ряды, жизни без приключений тела или души.

Затем – семья. Они сели в трамвай где-то в районе Хакни. Там были отец, мать и ребёнок; и я бы подумал, что они из какой-нибудь маленькой лавочки, вероятно, из мануфактурной. Родители были молодыми людьми лет двадцати пяти – тридцати пяти. На нём был чёрный блестящий сюртук, шляпа-цилиндр, маленькие бакенбарды и тёмные усы, а на лице – выражение добродушной пустоты. Его жена была причудливо разодета в чёрный атлас, с широкополой шляпой – не то чтобы некрасивая, просто бессмысленная. Мне кажется, у неё временами, не слишком часто, проявлялся «свой нор»». И совсем крошечный ребёнок сидел у неё на коленях. Семья, вероятно, отправлялась провести воскресный вечер с родственниками или друзьями.

И всё же, сказал я себе, эти двое причастились вместе великой тайны, великого таинства природы, источника всего волшебного в целом мире. Но постигли ли они эти тайны? Знают ли они, что побывали в том месте, что зовётся Сион и Иерусалим? – Я цитирую старую и странную книгу.

Так, вспомнив старый рассказ «Воскресение мёртвых», я обрёл источник для «Фрагмента жизни». В то время я писал «Иероглифы», только что закончив «Белых людей»; вернее, только что решив, что то, что сейчас напечатано под этим заголовком, – это всё, что когда-либо будет написано, что Великий Роман, который должен был быть написан – как воплощение этой идеи, – не будет написан никогда. И вот, когда «Иероглифы» были закончены, где-то в мае 1899 года, я принялся за «Фрагмент жизни» и написал первую главу с величайшим удовольствием и лёгкостью. А потом моя собственная жизнь разлетелась на куски. Я перестал писать. Я путешествовал. Я видел Сион, и Багдад, и другие странные места – см. «Близкое и далёкое» для объяснения этого туманного пассажа, – и оказался в освещённом мире рампы и софитов, выходя из левой верхней кулисы, пересекая сцену направо и уходя в правую третью кулису, и делая всякие странные вещи.

Но всё же, несмотря на все эти потрясения и перемены, «идея» не покидала меня. Я снова взялся за неё, полагаю, в 1904 году, снедаемый горькой решимостью закончить начатое. Теперь всё стало трудным. Я пробовал и так, и эдак, и по-другому. Все способы не годились, и я срывался на каждом из них; и я пробовал, и пробовал снова. Наконец я кое-как состряпал некую концовку, совершенно негодную, что я осознавал, когда писал каждую её строчку и слово, и рассказ появился, в 1904 или 1905 году, в «Хорликс Мэгэзин» под редакцией моего старого и дорогого друга А. Э. Уэйта.

Тем не менее я не был удовлетворён. Эта концовка была невыносима, и я это знал. Снова я сел за работу, ночь за ночью я бился над ней. И я помню одно странное обстоятельство, которое может представлять или не представлять физиологический интерес. Я тогда жил в тесной

«верхней части» дома на Козуэй-стрит, Мэрилебон-роуд. Чтобы бороться в одиночку, я писал на маленькой кухне; и ночь за ночью, когда я мрачно, яростно, почти безнадежно бился над подходящим завершением для «Фрагмента жизни», я с удивлением и почти тревогой обнаружил, что в моих ногах появилось ощущение мертвенного холода. В комнате не было холодно; я зажёл конфорки духовки маленькой газовой плиты. Мне не было холодно; но мои ноги леденели совершенно необычайным образом, словно их обложили льдом. Наконец я снял тапочки с намерением сунуть пальцы в духовку плиты и, потрогав ноги рукой, обнаружил, что на самом деле они вовсе не были холодными! Но ощущение оставалось; вот вам, я полагаю, странный случай переноса чего-то, происходившего в мозгу, на конечности. Мои ноги были совершенно тёплыми на ощупь, но по моим ощущениям они были заморожены. Но какое свидетельство в пользу американского идиoma «cold feet» (буквально «холодные ноги»), означающего подавленное и упадническое настроение! Но так или иначе, рассказ был закончен, и «идея» наконец покинула мою голову. Я вдался во все эти подробности о «Фрагменте жизни», потому что меня со многих сторон уверяли, что это лучшее, что я когда-либо делал, и исследователям кривых путей литературы, возможно, будет интересно услышать об отвратительных муках, сопутствовавших её созданию.

«Белые люди» относятся к тому же году, что и первая глава «Фрагмента жизни», – 1899-му, который также был годом «Иероглифов». Дело в том, что я тогда был в приподнятом литературном духе. Целый год я мучился и терзался в редакции «Литературы», еженедельной газеты, издаваемой «Таймс», и, снова обретя свободу, я чувствовал себя узником, освобождённым от цепей, готовым плясать в литературе до упаду. Тотчас я задумал «Великий Роман», очень тщательно продуманное и проработанное произведение, полное самых странных и редких вещей. Я забыл, как так вышло, что этот замысел провалился, но опытным путём я обнаружил, что великому роману суждено отправиться на ту славную полку ненаписанных книг, полку, где хранятся все великолепные книги в своих золотых переплётах. «Белые люди» – это небольшой обломок, спасённый с места крушения. Как ни странно, и на это намекается в Прологе, основной источник сюжета следует искать в медицинском учебнике. В Прологе упоминается обзорная статья доктора Корина. Но с тех пор я выяснил, что доктор Корин лишь цитировал из научного трактата тот случай с дамой, чьи пальцы сильно воспалились, потому что она увидела, как тяжёлая оконная рама опустилась на пальцы её ребёнка. С этим примером, разумеется, следует рассматривать все случаи стигматов, как древние, так и современные; и тогда вопрос становится достаточно очевидным: какие пределы мы можем установить для силы воображения? Не обладает ли воображение, по крайней мере потенциально, способностью творить любые чудеса, сколь бы дивными, сколь бы невероятными они ни казались по нашим обычным меркам? Что касается декораций рассказа, то это смешение, которое я осмелюсь назвать довольно изобретательным, из обрывков фольклора и ведовских преданий с моими собственными чистыми выдумками. Несколько лет спустя я с удивлением получил письмо от одного джентльмена, который был, если я правильно помню, школьным учителем где-то в Малайе. Этот джентльмен, серьёзный исследователь фольклора, писал статью о некоторых поразительных вещах, которые он наблюдал у малайцев, и в основном о своего рода состоянии оборотня, в которое некоторые из них могли себя вводить. Он нашёл, как он сказал, поразительные сходства между магическим ритуалом Малайи и некоторыми церемониями и практиками, на которые намекается в «Белых людях». Он предположил, что всё это не вымысел, а факт, то есть что я описывал практики, действительно используемые суеверными людьми на валлийской границе; он собирался цитировать меня в статье для «Журнала Общества Фольклора» или как он там назывался, и просто хотел меня уведомить. Я в спешке написал в фольклорный журнал, чтобы предостеречь их: ибо примеры, выбранные исследователем, были все плодами моего собственного воображения!

«Великий бог Пан» и «Сокровенный свет» – это рассказы более раннего периода, восходящие к 1890, 91, 92 годам. Я много писал о них в «Далёких вещах», а в предисловии к изданию «Великого бога Пана», опубликованному Messrs. Simpkin, Marshall в 1916 году, я подробно описал истоки книги. Но я должен снова привести несколько выдержек из рецензий, которые приветствовали «Великого бога Пана» к моему необычайному развлечению, веселью и отраде. Вот несколько лучших:

«Не вина мистера Мейчена, а его беда, что от созерцания его психологического пугала качаешься от смеха, а не от ужаса». – «Обсервер».

«Его ужас, к нашему сожалению, оставляет нас совершенно равнодушными... а наша плоть упорно отказывается покрываться мурашками». – «Кроникл».

«Его пугала не пугают». – «Скетч».

«Боимся, ему удаётся быть лишь смешным». – «Манчестер Гардиан».

«Мрачно, жутко и скучно». – «Ледис Пикториал».

«Бессвязный кошмар на тему секса... который при неограниченном употреблении быстро привёл бы к безумию... безвреден в силу своей абсурдности». – «Вестминстер Газетт».

И так далее, и так далее. Несколько газет, я помню, заявили, что «Великий бог Пан» – это просто глупая и неумелая перепевка гюисмансовских «Там, внизу» и «Наоборот». Я не читал этих книг, поэтому приобрёл их обе. После чего я понял, что мои критики их тоже не читали.

Фрагмент жизни

I

Эдвард Дарнелл очнулся ото сна, в котором он видел древний лес и светлый родник, подернутый серой дымкой и паром в туманном, мерцающем зное. Открыв глаза, он увидел, что комнату заливают яркий солнечный свет, искрящийся на лаке новой мебели. Он повернулся и обнаружил, что место рядом пустует. Все еще находясь под впечатлением смутного и удивительного сна, он тоже поднялся и начал поспешно одеваться, потому что немного проспал, а омнибус отходил от угла в 9:15. Это был высокий, худощавый мужчина с темными волосами и темными глазами. Несмотря на рутину Сити, пересчет купонов и всю ту механическую рутину, что длилась уже десять лет, в его облике все еще угадывалось нечто от дикой, первозданной грации, словно он родился в том старом лесу и видел, как бьет родник из зеленого мха и серых скал.

Завтрак был накрыт в комнате на первом этаже – той, что выходила французскими окнами в сад. Прежде чем сесть за свою яичницу с беконом, он серьезно и почтительно поцеловал жену. У нее были каштановые волосы и карие глаза, и, хотя ее прекрасное лицо оставалось серьезным и спокойным, можно было подумать, что и она могла бы ждать мужа под вековыми деревьями и купаться в заводи, выдолбленной в скалах.

Пока разливали кофе и ели бекон, а глуповатая, вечно глазающая служанка с чумазым лицом вносила яйцо для Дарнелла, им было что обсудить. Они были женаты год и ладили превосходно, редко просиживая в молчании дольше часа. Однако последние несколько недель подарок тети Мэриан стал неисчерпаемой темой для разговоров. Миссис Дарнелл в девичестве была мисс Мэри Рейнольдс, дочерью аукциониста и агента по недвижимости из Ноттинг-Хилла, а тетя Мэриан – сестрой ее матери, которая, как считалось, несколько унизила себя, выйдя замуж за мелкого торговца углем из Тернем-Грин. Мэриан сильно ощущала отношение семьи, и Рейнольдсы пожалели о многом из сказанного, когда торговец углем скопил денег и занялся строительной арендой земли в районе Крауч-Энд, причем, как оказалось, с большой для себя выгодой. Никто не думал, что Никсон способен на многое, но вот уже много лет они с женой жили в прекрасном доме в Барнете – с эркерными окнами, кустарниками и небольшим лугом, – и семьи виделись редко, поскольку дела у мистера Рейнольдса шли не слишком успешно. Разумеется, тетю Мэриан с мужем пригласили на свадьбу Мэри, но они прислали извинения вместе с милым набором серебряных «апостольских» ложечек, и все опасались, что большего ждать не приходится. Однако на день рождения Мэри тетя прислала самое нежное письмо, вложив в него чек на сто фунтов от себя и «Роберта». С тех самых пор как Дарнеллы получили деньги, они не переставали обсуждать вопрос их разумного вложения. Миссис Дарнелл хотела инвестировать всю сумму в государственные ценные бумаги, но мистер Дарнелл указал, что процентная ставка до смешного низка, и после долгих разговоров убедил жену вложить девяносто фунтов в надежную шахту, которая приносила пять процентов годовых. Это было прекрасно, но оставшиеся десять фунтов, на которых настояла миссис Дарнелл, породили легенды и рассуждения, столь же нескончаемые, как споры схоластов.

Поначалу мистер Дарнелл предложил обставить «свободную» комнату. В доме было четыре спальни: их собственная, маленькая для служанки и две другие с видом на сад. Одна из них использовалась для хранения коробок, обрывков веревок и старых номеров «Тихих дней» и «Воскресных вечеров», а также нескольких поношенных костюмов мистера Дарнелла, которые были тщательно завернуты и отложены, поскольку он толком не знал, что с ними делать. Другая комната откровенно пустовала, и в одну субботу днем, когда он ехал домой в омнибусе,

размышляя над трудным вопросом о десяти фунтах, ему внезапно пришла в голову мысль о неприглядной пустоте этой комнаты, и он загорелся идеей, что теперь, благодаря тете Мэриан, ее можно обставить. Эта восхитительная мысль занимала его всю дорогу домой, но, войдя в дом, он ничего не сказал жене, чувствуя, что идею нужно довести до ума. Он сообщил миссис Дарнелл, что по важному делу ему нужно снова уйти, но он непременно вернется к чаю в половине седьмого. Мэри, со своей стороны, была не прочь побыть одна, так как немного отстала с ведением домашних счетов. Дело в том, что Дарнелл, полный решимости обставить свободную спальню, хотел посоветоваться со своим другом Уилсоном, который жил в Фулхэме и часто давал ему дельные советы о том, как потратить деньги с наибольшей выгодой. Уилсон был связан с торговлей бордоскими винами, и единственное, что беспокоило Дарнелла, – это не застать его дома.

Однако все обошлось. Дарнелл доехал на трамвае по Голдхок-роуд, остаток пути прошел пешком и был рад увидеть Уилсона в палисаднике перед домом, занятого своими цветочными клумбами.

– Сто лет тебя не видел, – весело сказал тот, услышав, как рука Дарнелла легла на калитку. – Заходи. Ох, я и забыл, – добавил он, когда Дарнелл все еще возился с ручкой, тщетно пытаясь войти. – Конечно, ты не можешь войти, я же тебе не показывал.

Стоял жаркий июньский день, и Уилсон появился в костюме, который наспех надел, как только приехал из Сити. На нем была соломенная шляпа с аккуратным нашьлемником, защищавшим шею сзади, а одет он был в норфолкскую куртку и бриджи из ткани «вересковая смесь».

– Смотри, – сказал он, впуская Дарнелла, – видишь фокус. Ручку вообще не надо поворачивать. Сначала сильно толкни, а потом потяни. Это моя собственная хитрость, я ее запатентую. Понимаешь, она держит нежелательных личностей на расстоянии – такая важная вещь в пригороде. Теперь я могу спокойно оставлять миссис Уилсон одну, а раньше ты и представить себе не можешь, как к ней приставали.

– А как же гости? – спросил Дарнелл. – Как они входят?

– О, мы им подсказываем. К тому же, – неопределенно сказал он, – кто-нибудь обязательно выглянет. Миссис Уилсон почти всегда у окна. Сейчас ее нет, ушла в гости. Кажется, у Беннетов сегодня приемный день. Сегодня ведь первая суббота, да? Ты же знаешь Дж. У. Беннета? Ага, он в Палате общин, дела у него, кажется, идут отлично. Он мне на днях подкинул одну очень выгодную штуку.

– Слушай, – сказал Уилсон, когда они повернулись и пошли к парадной двери, – зачем ты носишь эти черные вещи? У тебя, должно быть, жаркий вид. Посмотри на меня. Ну, я, конечно, в саду работал, но чувствую себя свежим, как огурчик. Наверное, ты не знаешь, где достать такие вещи? Мало кто знает. Как думаешь, где я их взял?

– В Вест-Энде, полагаю, – сказал Дарнелл, желая быть вежливым.

– Да, так все говорят. И крой хороший. Ладно, я тебе скажу, но ты не рассказывай всем подряд. Мне подсказал Джеймсон – знаешь его, «Джим-Джемс», из чайной торговли, Истбрук, 39 – и он сказал, что не хочет, чтобы весь Сити об этом знал. Просто иди к Дженнингсу на Олд-Уолл, назови мое имя, и все будет в порядке. И как думаешь, сколько они стоят?

– Понятия не имею, – ответил Дарнелл, никогда в жизни не покупавший такого костюма.

– Ну, попробуй угадать.

Дарнелл серьезно посмотрел на Уилсона.

Куртка висела на нем мешком, бриджи плачевно свисали над икрами, а на самых видных местах вересковый цвет, казалось, вот-вот полиняет и исчезнет.

– Полагаю, фунта три, не меньше, – сказал он наконец.

– Ну, я на днях спросил Денча у нас в конторе, он предположил четыре фунта десять, а его отец как-то связан с крупным бизнесом на Конduit-стрит. А я отдал всего тридцать пять шиллингов и шесть пенсов. По мерке? Конечно, посмотри на крой, приятель.

Дарнелл был поражен такой низкой ценой.

– И, кстати, – продолжил Уилсон, указывая на свои новые коричневые ботинки, – ты знаешь, куда идти за обувью? О, я думал, это все знают! Есть только одно место. «Мистер Билл» на Ганнинг-стрит – девять шиллингов и шесть пенсов.

Они ходили кругами по саду, и Уилсон показывал цветы на клумбах и в бордюрах. Цветов почти не было, но все было аккуратно рассажено.

– Вот клубневые глазбви, – сказал он, указывая на жесткий ряд чахлах растений, – это косоцвётные¹; вот новинка, Молдэвия вечноцветущая Андерсбона, а это прэттсия.

– Когда они цветут? – спросил Дарнелл.

– Большинство в конце августа или начале сентября, – коротко ответил Уилсон. Он был слегка раздосадован тем, что так много говорил о своих растениях, видя, что Дарнеллу цветы безразличны. И действительно, гость едва мог скрыть нахлынувшие на него смутные воспоминания: мысли о старом, диком саде, полном ароматов, под серыми стенами, о благоухании таволги у ручья.

– Я хотел посоветоваться с тобой насчет мебели, – наконец сказал Дарнелл. – У нас, знаешь ли, есть свободная комната, и я подумываю поставить туда кое-какие вещи. Я еще не решил окончательно, но подумал, что ты мог бы мне что-нибудь посоветовать.

– Пойдем в мой кабинет, – сказал Уилсон. – Нет, сюда, с заднего хода. – И он показал Дарнеллу еще одно хитроумное приспособление у боковой двери, благодаря которому, стоило лишь коснуться щеколды, по всему дому начинал пронзительно трезвонить звонок. Уилсон и впрямь так резво за нее взялся, что звонок поднял дикую тревогу, и служанка, примерявшая в спальне вещи своей хозяйки, в безумии подскочила к окну, а затем зашлась в истерической пляске. В воскресенье днем на столе в гостиной обнаружили штукатурку, и Уилсон написал письмо в «Фулхэм Кроникл», приписав это явление «некоему сейсмическому возмущению».

В тот момент он ничего не знал о грандиозных последствиях своего изобретения и торжественно повел гостя к задней части дома. Здесь был участок дерна, начинавший слегка буреть, с кустарниками на заднем плане. Посреди дерна, с важным видом, стоял в одиночестве мальчик лет девяти или десяти.

– Старший, – сказал Уилсон. – Хэвлок. Ну, Локки, что делаешь? И где твои брат и сестра?

Мальчик ничуть не смутился. Напротив, он, казалось, горел желанием объяснить ход событий.

– Я играю в Бога, – сказал он с обезоруживающей откровенностью. – А Фергюса и Джанет я отправил в гиблое место. Это там, в кустах. И им оттуда никогда не выйти. И они горят в вечном огне.

– Ну, как тебе? – восхищенно спросил Уилсон. – Неплохо для девятилетнего паренька, а? В воскресной школе его очень хвалят. Но пойдем в мой кабинет.

Кабинет представлял собой пристройку к задней части дома. Изначально он был задуман как черная кухня и прачечная, но Уилсон задрапировал медный котел кисеей, а раковину застелил досками, так что она служила верстаком.

– Уютно, правда? – сказал он, подвигая одно из двух плетеных кресел. – Я здесь обдумываю всякие вещи, знаешь ли, тут тихо. Так что там с мебелью? Хочешь проверить дело с размахом?

– О, вовсе нет. Совсем наоборот. Собственно, я не знаю, хватит ли суммы, которой мы располагаем. Понимаешь, свободная комната у нас десять на двенадцать футов, окна выходят

¹ тип, выдуманный А.Мэйченом

на запад, и я подумал, если получится, она будет выглядеть веселее с мебелью. К тому же, приятно иметь возможность пригласить гостя, например, нашу тетю, миссис Никсон. А она привыкла, чтобы все было очень хорошо.

– И сколько ты хочешь потратить?

– Ну, я не думаю, что мы вправе выходить за рамки десяти фунтов. Этого ведь не хватит, да?

Уилсон встал и внушительно закрыл дверь черной кухни.

– Слушай, – сказал он, – я рад, что ты в первую очередь пришел ко мне. А теперь просто скажи, куда ты сам думал пойти.

– Ну, я подумывал о Хэмпстед-роуд, – нерешительно ответил Дарнелл.

– Я так и думал, что ты это скажешь. Но я тебя спрошу: какой смысл ходить в эти дорогие магазины в Вест-Энде? Ты же не получаешь за свои деньги товар лучшего качества. Ты просто платишь за моду.

– Но я видел кое-какие симпатичные вещи у «Сэмюэла». В этих первоклассных магазинах они добиваются блестящей полировки. Мы ходили туда, когда женились.

– Вот именно, и заплатили на десять процентов больше, чем могли бы. Это выбрасывание денег на ветер. И сколько, ты говоришь, у тебя есть? Десять фунтов. Так вот, я могу тебе сказать, где достать прекрасный спальный гарнитур, самой лучшей отделки, за шесть фунтов десять. Как тебе такое? Посуда включена, заметь, а ковер, ярких цветов, обойдется тебе всего в пятнадцать шиллингов и шесть пенсов. Слушай, поезжай в любую субботу днем к «Дику» на Севен-Систерс-роуд, упомяни мое имя и спроси мистера Джонстона. Гарнитур из ясеня, они его называют «Елизаветинский». Шесть фунтов десять, включая посуду, и один из их ковров «Ориент», девять на девять футов, за пятнадцать и шесть. У «Дика».

Уилсон говорил на тему меблировки с некоторым красноречием. Он указал, что времена изменились и старый тяжелый стиль совершенно вышел из моды.

– Понимаешь, – сказал он, – сейчас все не так, как в старые времена, когда люди покупали вещи, чтобы они служили сотни лет. Вот, незадолго до того, как мы с женой поженились, у меня на севере умер дядя и оставил мне свою мебель. Я как раз подумывал об обстановке и решил, что вещи могут пригодиться. Но уверяю тебя, там не было ни единого предмета, который я бы захотел держать в доме. Все тусклое, старое красное дерево: большие книжные шкафы и бюро, стулья и столы на кривых ножках. Как я сказал жене (вскоре после этого она ею стала): «Мы ведь не собираемся устраивать у себя кунсткамеру, правда?» Так что я распродал все это барахло за сколько смог. Должен признаться, я люблю, когда в комнате весело.

Дарнелл сказал, что слышал, будто художникам нравится старомодная мебель.

– О, еще бы. «Нечистый культ подсолнуха», да? Видел ту статейку в «Дейли Пост»? Я сам всю эту гниль ненавижу. Это нездорово, понимаешь, и я не верю, что английский народ это стерпит. Но говоря о диковинках, у меня тут есть кое-что, что стоит денег.

Он порылся в каком-то пыльном ящике в углу комнаты и показал Дарнеллу маленькую, изъеденную червями Библию, в которой не хватало первых пяти глав Бытия и последнего листа Апокалипсиса. На ней стояла дата 1753 год.

– Я уверен, что она многого стоит, – сказал Уилсон. – Посмотри на червоточины. И видишь, она «неполная», как говорят. Ты замечал, что некоторые из самых ценных книг на аукционах – «неполные»?

Вскоре после этого их беседа подошла к концу, и Дарнелл отправился домой к чаю. Он серьезно подумывал последовать совету Уилсона, и после чая рассказал Мэри о своей идее и о том, что Уилсон сказал про магазин «Дика».

Мэри, выслушав все подробности, этот план весьма понравился. Цены показались ей очень умеренными. Они сидели по обе стороны камина (который был прикрыт симпатичным картонным экраном с нарисованными пейзажами), и она, подперев щеку рукой, смотрела куда-

то своими прекрасными темными глазами, словно видела дивные сны. На самом же деле она обдумывала план Дарнелла.

– В некотором смысле это было бы очень мило, – сказала она наконец. – Но нам нужно все обсудить. Боюсь, в конечном итоге это выльется в сумму куда больше десяти фунтов. Нужно учесть столько всего. Вот кровать. Будет убого, если мы купим простую кровать без латунных наворшений. Потом постельные принадлежности: матрас, одеяла, простыни и покрывало – все это тоже будет чего-то стоить.

Она снова погрузилась в мечтания, подсчитывая стоимость всего необходимого, а Дарнелл с тревогой смотрел на нее, считая вместе с ней и гадая, к какому выводу она придет. На мгновение нежный цвет ее лица, изящество фигуры и каштановые волосы, ниспадающие на уши и выющиеся мелкими локонами у шеи, показались ему намеком на язык, которого он еще не выучил. Но она заговорила снова.

– Постельные принадлежности, боюсь, обойдутся в круглую сумму. Даже если у «Дика» значительно дешевле, чем у «Буна» или «Сэмюэла». И, дорогой, нам понадобятся какие-нибудь украшения на каминную полку. Я на днях видела очень милые вазочки по одиннадцать-три у «Уилкина и Додда». Нам понадобится как минимум шесть, и еще что-то для центра. Видишь, как набегает.

Дарнелл молчал. Он видел, что жена подводит итоги не в пользу его замысла, и, хотя он всем сердцем за него ухватился, не мог устоять перед ее доводами.

– Это будет ближе к двенадцати фунтам, чем к десяти, – сказала она.

– Пол вокруг ковра (ты сказал девять на девять?) придется покрасить, и нам понадобится кусок линолеума под умывальник. А стены будут выглядеть очень голыми без картин.

– Я подумал о картинах, – с жаром заговорил Дарнелл. Он чувствовал, что здесь, по крайней мере, он неуязвим. – Знаешь, у нас ведь уже есть «День Дерби» и «Вокзал», в рамках, стоят в углу кладовки. Они немного старомодны, возможно, но для спальни это неважно. И разве нельзя использовать фотографии? Я видел в Сити очень аккуратную рамку из натурального дуба, на полдюжины фотографий, за шиллинг и шесть пенсов. Мы могли бы вставить твоего отца, твоего брата Джеймса, тетю Мэриан и твою бабушку в чепце вдовы – и кого-нибудь еще из альбома. А еще есть та старая семейная картина в сундуке – она могла бы подойти над камином.

– Ты имеешь в виду твоего прадеда в позолоченной раме? Но это ведь очень старомодно, правда? Он так странно выглядит в своем парике. Не думаю, что это как-то будет сочетаться с комнатой.

Дарнелл на мгновение задумался. Портрет был погрудным изображением молодого джентльмена, щегольски одетого по моде 1750 года, и он очень смутно помнил какие-то старые истории, которые отец рассказывал ему об этом предке – истории о лесах и полях, о глубоких, заросших проселках и о забытом крае на западе.

– Да, – сказал он, – полагаю, он и впрямь несколько устарел. Но я видел в Сити очень милые гравюры, в рамках и совсем недорогие.

– Да, но все имеет свою цену. Что ж, мы еще поговорим об этом, как ты говоришь. Ты же знаешь, мы должны быть осторожны.

Служанка внесла ужин: жестяную банку с печеньем, стакан молока для хозяйки и скромную пинту пива для хозяина, с небольшим кусочком сыра и масла. После ужина Эдвард выкурил две трубки табака «Honeydew», и они тихо отправились спать. Мэри пошла первой, а муж последовал за ней четверть часа спустя, согласно ритуалу, установленному с первых дней их брака. Парадная и задняя двери были заперты, газ перекрыт у счетчика, и когда Дарнелл поднялся наверх, он застал жену уже в постели, повернувшую к нему лицо на подушке.

Она тихо заговорила, когда он вошел в комнату.

– Невозможно купить приличную кровать дешевле, чем за фунт одиннадцать, а хорошие простыни везде стоят дорого.

Он скинул одежду и мягко скользнул в постель, потушив свечу на столике. Шторы были ровно и аккуратно опущены, но ночь была июньская, и за стенами, за этим унылым миром и пустыней серого Шепердс-Буша, сквозь волшебную пелену облаков над холмом взошла огромная золотая луна, и земля наполнилась дивным светом, колеблющимся между багряным закатом, застывшим над горами, и тем чудесным сиянием, что лилось в леса с вершины холма. Дарнеллу казалось, что он видит отблеск этого волшебного сияния в комнате; бледные стены, белая постель и лицо его жены, лежащее на подушке среди каштановых волос, были озарены, и, прислушиваясь, он почти мог различить крик коростеля в полях, странный зов козодоя из тишины скалистых мест, где рос папоротник, и, словно эхо волшебной песни, мелодию соловья, что пел всю ночь в ольхе у ручейка. Он не мог ничего сказать, но медленно просунул руку под шею жены и стал перебирать колечки каштановых волос. Она не шевелилась, лежала, тихо дыша, и смотрела своими прекрасными глазами в пустой потолок комнаты, тоже, без сомнения, думая о чем-то, чего не могла высказать. Она послушно поцеловала мужа, когда он попросил, а он, говоря, запинался и колебался.

Они уже почти засыпали, Дарнелл был на самом пороге сна, когда она очень тихо произнесла:

– Боюсь, дорогой, мы никогда не сможем себе этого позволить.

И он услышал ее слова сквозь журчание воды, капающей с серой скалы и падающей в светлую заводь внизу.

Воскресное утро всегда было временем праздности. Они бы так и не дождались завтрака, если бы миссис Дарнелл, обладавшая инстинктами хозяйки, не проснулась, не увидела яркий солнечный свет и не почувствовала, что в доме слишком тихо. Она лежала неподвижно минут пять, пока муж спал рядом, и напряженно вслушивалась, ожидая, когда внизу зашевелится Элис. Золотой луч солнца пробивался сквозь щель в жалюзи и падал на каштановые волосы, разметавшиеся по подушке вокруг ее головы. Она неотрывно смотрела на туалетный столик-«дюшес», на цветной умывальный набор и на две фотогравюры в дубовых рамах – «Встреча» и «Прощание», – висевшие на стене. Она полудремала, прислушиваясь к шагам служанки, и на нее набежала тень тени какой-то мысли, и она смутно, на краткий миг сна, представила себе другой мир, где восторг был вином, где бродят по глубокой и счастливой долине, а над деревьями всегда восходит багровая луна. Она думала о Хэмпстеде, который представлялся ей видением мира за стенами, и мысль о пустоши привела ее к мыслям о банковских каникулах, а затем и об Элис. В доме не было ни звука; если бы не протяжный крик разносчика воскресных газет, внезапно раздавшийся за углом Эдна-роуд, и не предостерегающее бряцанье и визг молочника с его бидонами, можно было бы подумать, что на дворе полночь.

Миссис Дарнелл села в постели и, окончательно проснувшись, стала слушать еще внимательнее. Девушка, очевидно, крепко спала, и ее нужно было будить, иначе вся дневная работа пойдет наперекосяк. Она вспомнила, как Эдвард ненавидит любую суету или споры по хозяйственным вопросам, особенно в воскресенье, после долгой рабочей недели в Сити. Она с нежностью взглянула на спящего мужа, потому что очень его любила, и тихонько встала с постели, чтобы в одной ночной рубашке пойти разбудить служанку.

Комната служанки была маленькой и душной, ночь выдалась очень жаркой, и миссис Дарнелл на мгновение замерла у двери, гадая, действительно ли девушка на кровати – та самая чумазая служанка, что целыми днями суетится по дому, или даже то странно разодетое существо в лиловом, с лоснящимся лицом, которое появится в воскресенье днем, принося ранний чай, потому что у нее «выходной вечер». Волосы у Элис были черные, а кожа бледная, почти оливкового оттенка, и она спала, подложив одну руку под голову, напоминая миссис Дарнелл о странной гравюре «Усталая вакханка», которую она давно видела в витрине магазина на

Аппер-стрит в Ислингтоне. И тут зазвонил треснутый колокол – это означало, что без пяти восемь, а ничего еще не сделано.

Она мягко коснулась плеча девушки и лишь улыбнулась, когда та, вздрогнув, открыла глаза и в смятении вскочила. Миссис Дарнелл вернулась в свою комнату и стала медленно одеваться, пока муж еще спал. И лишь в последний момент, застегивая вишневый лиф, она разбудила его, сказав, что бекон подгорит, если он не поторопится с одеванием.

За завтраком они снова обсуждали вопрос о свободной комнате. Миссис Дарнелл по-прежнему признавала, что план обставить ее ее привлекает, но не видела, как это можно сделать за десять фунтов, а поскольку они были людьми предусмотрительными, то не хотели трогать свои сбережения. Эдвард получал хорошее жалованье – сто сорок фунтов в год (с учетом надбавок за сверхурочную работу в загруженные недели), а Мэри унаследовала от старого дяди, своего крестного, триста фунтов, которые были разумно вложены под залог под 4,5 процента. Таким образом, их общий доход, считая подарок тети Мэриан, составлял сто пятьдесят восемь фунтов в год, и долгов у них не было, поскольку мебель для дома Дарнелл купил на деньги, которые копил в течение пяти или шести лет до этого. В первые годы своей жизни в Сити его доход, конечно, был меньше, и поначалу он жил очень свободно, не думая об экономии. Его привлекали театры и мюзик-холлы, и едва ли проходила неделя, чтобы он не сходил (в партер) в один из них; иногда он покупал фотографии понравившихся ему актрис. Он торжественно сжег их, когда обручился с Мэри; он хорошо помнил тот вечер: его сердце было так полно радости и удивления, а хозяйка квартиры, когда он вернулся из Сити на следующий день, горько жаловалась на беспорядок в камине. Тем не менее, деньги были потеряны, насколько он мог припомнить, десять или двенадцать шиллингов; и ему было тем более досадно думать, что, если бы он их отложил, их бы с лихвой хватило на покупку ковра «Ориент» ярких расцветок. Были и другие траты его молодости: он покупал сигары по три и даже по четыре пенса, последние редко, но первые часто, иногда поштучно, а иногда пачками по двенадцать штук за полкроны. Однажды пенковая трубка не давала ему покоя шесть недель; табачник с некоторым таинственным видом извлек ее из ящика, когда он покупал пачку «Одинокой звезды». Вот еще одна бесполезная трата – эти американские табаки; его «Одинокая звезда», «Долгий судья», «Старый Хэнк», «Знойный климат» и прочие стоили от шиллинга до шиллинга и шести пенсов за двух-унцевую пачку, тогда как сейчас он покупал отличный развесной «Honeydew» по три с половиной пенса за унцию. Но хитрый торговец, который приметил его как покупателя дорогих диковинных товаров, кивнул со своим таинственным видом и, щелкнув крышкой футляра, выставил пенковую трубку перед ослепленными глазами Дарнелла. Чаша была вырезана в виде женской фигуры, изображающей голову и торс, а мундштук был из самого лучшего янтаря – всего двенадцать шиллингов и шесть пенсов, сказал торговец, и один только янтарь, уверял он, стоит дороже. Он объяснил, что ему несколько неловко показывать трубку кому-либо, кроме постоянного клиента, и он готов продать ее чуть ниже себестоимости и «списать убыток». Дарнелл тогда устоял, но трубка не давала ему покоя, и в конце концов он ее купил. Некоторое время он с удовольствием показывал ее молодым коллегам в конторе, но курилась она не очень хорошо, и он отдал ее незадолго до свадьбы, так как из-за характера резьбы пользоваться ею в присутствии жены было бы невозможно. Однажды, во время отпуска в Гастингсе, он купил малайскую трость – бесполезную вещь, стоившую семь шиллингов, – и с горечью размышлял о бесчисленных вечерах, когда он отказывался от простой жареной котлеты своей хозяйки и отправлялся фланировать по итальянским ресторанчикам на Аппер-стрит в Ислингтоне (он жил в Холлоуэе), балуя себя дорогими деликатесами: котлетами с зеленым горошком, тушеной говядиной с томатным соусом, филе-миньон с картофелем фри, часто завершая трапезу небольшим кусочком грюйера, который стоил два пенса. Однажды вечером, получив прибавку к жалованью, он выпил четверть фляжки кьянти и добавил к уже постыдным расходам чудовищные бенедиктин, кофе и сигареты, а шесть пенсов официанту довели счет до четырех шил-

лингвов вместо одного, который обеспечил бы ему здоровую и достаточную трапезу дома. О, в этом списке расточительства было много и других пунктов, и Дарнелл часто сожалел о своем образе жизни, думая, что если бы он был бережливее, к их доходу можно было бы прибавить пять-шесть фунтов в год.

И вопрос о свободной комнате вернул эти сожаления с удвоенной силой. Он убедил себя, что лишние пять фунтов дали бы достаточный запас для желаемых трат, хотя это, без сомнения, было с его стороны ошибкой. Но он ясно видел, что в нынешних условиях нельзя было трогать ту очень небольшую сумму денег, которую они скопили. Аренда дома составляла тридцать пять фунтов, а налоги и сборы добавляли еще десять – почти четверть их дохода уходила на жилье. Мэри из всех сил старалась сократить расходы на хозяйство, но мясо всегда было дорогим, и она подозревала служанку в том, что та тайком отрезает ломти от жаркого и ест их в своей спальне с хлебом и патокой глубокой ночью, ибо у девушки были неупорядоченные и странные аппетиты. Мистер Дарнелл больше не думал о ресторанах, дешевых или дорогих; он брал свой обед с собой в Сити, а вечером ужинал с женой – котлеты, кусок стейка или холодное мясо от воскресного обеда. Миссис Дарнелл в середине дня ела хлеб с джемом и пила немного молока; но, при всей экономии, попытка жить по средствам и откладывать на будущие непредвиденные расходы была очень трудной. Они решили обходиться без смены обстановки по крайней мере три года, так как медовый месяц в Уолтон-он-те-Нейз обошелся довольно дорого; и именно на этом основании они, несколько нелогично, отложили десять фунтов, заявив, что раз у них не будет отпуска, они потратят деньги на что-нибудь полезное.

И именно это соображение полезности в конечном итоге оказалось роковым для плана Дарнелла. Они снова и снова подсчитывали расходы на кровать и постельные принадлежности, линолеум и украшения, и ценой больших усилий общая сумма расходов приобрела вид «чуть больше десяти фунтов», когда Мэри внезапно сказала:

– Но, в конце концов, Эдвард, нам ведь на самом деле не нужно обставлять эту комнату. Я имею в виду, в этом нет необходимости. А если мы это сделаем, это может привести к бесконечным расходам. Люди узнают об этом и непременно начнут напрашиваться в гости. Ты же знаешь, у нас есть родственники в деревне, и они, Мэллинги во всяком случае, почти наверняка станут наемать.

Дарнелл увидел силу этого довода и уступил. Но он был горько разочарован.

– Было бы очень мило, правда? – сказал он со вздохом.

– Ничего, дорогой, – сказала Мэри, видя, что он сильно пал духом. – Мы придумаем какой-нибудь другой план, который будет и приятным, и полезным.

Она часто говорила с ним таким тоном, тоном доброй матери, хотя была на три года моложе.

– А теперь, – сказала она, – мне нужно собираться в церковь. Ты идешь?

Дарнелл сказал, что, пожалуй, нет. Обычно он сопровождал жену на утреннюю службу, но в тот день он чувствовал некоторую горечь в сердце и предпочел посидеть в тени большого тутового дерева, стоявшего посреди их клочка сада – остатка просторных лужаек, которые когда-то лежали гладкими, зелеными и благоуханными там, где теперь в безнадежном лабиринте кишели унылые улицы.

Так что Мэри пошла в церковь тихо и одна. Церковь Святого Павла стояла на соседней улице, и ее готический дизайн заинтересовал бы любознательного исследователя истории странного возрождения. Очевидно, с механической точки зрения, все было в порядке. Стиль был выбран «геометрический декоративный», и узоры окон казались правильными. Неф, приделы, просторный алтарь были разумно пропорциональны; и, если говорить серьезно, единственной явно неправильной деталью была замена алтарной преграды с хорами и распятием на низкую «алтарную стену» с железными воротами. Но это, можно было бы убедительно доказать, было всего лишь адаптацией старой идеи к современным требованиям, и было бы

довольно трудно объяснить, почему все здание, от простого раствора между камнями до готических газовых фонарей, было таинственным и изощренным кощунством. Гимны пели на мотив Джолла си-бемоль мажор, псалмы были «англиканскими», а проповедь была евангелием дня, дополненным и переведенным на более современный и изящный английский язык проповедника. И Мэри ушла.

После обеда (отличный кусок австралийской баранины, купленный в магазинах «Уорлд Уайд» в Хаммерсмите) они некоторое время сидели в саду, частично укрытые большим тутовым деревом от взглядов соседей. Эдвард курил свой «Honeydew», а Мэри смотрела на него со спокойной нежностью.

– Ты никогда не рассказываешь мне о людях в твоей конторе, – сказала она наконец. – Некоторые из них, должно быть, славные ребята, да?

– О да, они очень приличные. Надо бы как-нибудь привести кого-нибудь из них.

Он с болью вспомнил, что придется покупать виски. Нельзя же просить гостя пить столовое пиво по десять пенсов за галлон.

– А кто они? – спросила Мэри. – Мне кажется, они могли бы подарить тебе что-нибудь на свадьбу.

– Ну, не знаю. У нас как-то не принято. Но ребята они очень приличные. Ну, вот Харви; за глаза его называют «Соус». Он помешан на велосипедах. В прошлом году он участвовал в заезде на две мили среди любителей. И победил бы, если бы смог лучше подготовиться.

– Потом есть Джеймс, спортивный человек. Он бы тебе не понравился. Мне всегда кажется, что от него пахнет конюшней.

– Как ужасно! – сказала миссис Дарнелл, находя мужа несколько откровенным и опуская глаза.

– Дикенсон мог бы тебя позабавить, – продолжил Дарнелл. – У него всегда наготове шутка. Правда, ужасный лгун. Когда он что-то рассказывает, мы никогда не знаем, чему верить. На днях он клялся, что видел одного из начальников покупающим моллюсков с тележки у Лондонского моста, и Джонс, который только что пришел, поверил каждому слову.

Дарнелл рассмеялся при забавном воспоминании об этой шутке.

– И неплохая была байка про жену Солтера, – продолжал он. – Солтер – управляющий, знаешь ли. Дикенсон живет неподалеку, в Ноттинг-Хилле, и однажды утром он сказал, что видел миссис Солтер на Портобелло-роуд в красных чулках, танцующую под шарманку.

– Он немного грубоват, не так ли? – сказала миссис Дарнелл. – Я не вижу в этом ничего смешного.

– Ну, знаешь, среди мужчин это по-другому. Тебе мог бы понравиться Уоллис; он потрясающий фотограф. Он часто показывает нам фотографии своих детей – одна, маленькая девочка трех лет, в ванне. Я спросил его, как, по его мнению, ей это понравится, когда ей будет двадцать три.

Миссис Дарнелл опустила глаза и ничего не ответила.

Несколько минут царил молчок, пока Дарнелл курил свою трубку. – Слушай, Мэри, – сказал он наконец, – что ты скажешь, если мы возьмем жильца?

– Жильца! Я никогда об этом не думала. Куда же мы его поселим?

– Ну, я думал о свободной комнате. Этот план устранил бы твое возражение, не так ли? Многие в Сити так делают и зарабатывают на этом. Я думаю, это добавило бы десять фунтов в год к нашему доходу. Редгрейв, кассир, считает это выгодным и специально снимает большой дом. У них есть настоящая лужайка для тенниса и бильярдная.

Мэри серьезно задумалась, все с той же мечтательностью в глазах. – Не думаю, что мы справимся, Эдвард, – сказала она. – Это было бы неудобно во многих отношениях. – Она на мгновение замешкалась. – И не думаю, что мне бы хотелось иметь молодого человека в доме. Он такой маленький, и наши удобства, как ты знаешь, так ограничены.

Она слегка покраснела, и Эдвард, хоть и был немного разочарован, посмотрел на нее со странным томлением, словно ученый, столкнувшийся с сомнительным иероглифом, то ли совершенно чудесным, то ли абсолютно обыденным. По соседству в саду играли дети, играли пронзительно, смеялись, плакали, ссорились, носились туда-сюда. Вдруг из верхнего окна раздался ясный, приятный голос:

– Энид! Чарльз! Немедленно поднимитесь ко мне в комнату!

Наступила внезапная тишина. Детские голоса смолкли.

– Говорят, миссис Паркер держит своих детей в большой строгости, – сказала Мэри. – Элис рассказывала мне об этом на днях. Она разговаривала со служанкой миссис Паркер. Я выслушала ее без всяких замечаний, так как не считаю правильным поощрять сплетни слуг; они всегда все преувеличивают. И я думаю, детей часто нужно наказывать.

Дети замолчали, словно их охватил какой-то жуткий ужас.

Дарнеллу показалось, что он услышал какой-то странный крик из дома, но он не был уверен. Он повернулся в другую сторону, где пожилой, обыкновенный мужчина с седыми усами прогуливался взад и вперед по дальней стороне своего сада. Он поймал взгляд Дарнелла, и, когда миссис Дарнелл в тот же момент посмотрела в его сторону, он очень вежливо приподнял свою твидовую кепку. Дарнелл с удивлением увидел, что его жена густо покраснела.

– Мы с Сейсом часто ездим в Сити одним и тем же omnibusом, – сказал он, – и так случилось, что мы сидели рядом два или три раза в последнее время. Я думаю, он коммивояжер какой-то кожевенной фирмы в Бермондси. Он показался мне приятным человеком. У них довольно симпатичная служанка, не правда ли?

– Элис говорила мне о ней – и о Сейсах, – сказала миссис Дарнелл. – Я так поняла, что в округе о них не очень хорошего мнения. Но мне нужно идти посмотреть, готов ли чай. Элис скоро захочет уходить.

Дарнелл посмотрел вслед быстро уходящей жене. Он лишь смутно понимал, но видел очарование ее фигуры, прелесть каштановых локонов, выющихся у шеи, и снова почувствовал себя ученым перед иероглифом. Он не мог бы выразить своих чувств, но гадал, найдет ли он когда-нибудь ключ, и что-то подсказывало ему, что прежде, чем она сможет заговорить с ним, должны открыться его собственные уста. Она вошла в дом через дверь черной кухни, оставив ее открытой, и он услышал, как она говорит девушке о том, что вода должна быть «действительно кипящей». Он был поражен, почти возмущен самим собой; но звук этих слов донесся до его ушей как странная, пронзительная музыка, звуки из другой, чудесной сферы. И все же он был ее мужем, и они были женаты почти год; и все же, всякий раз, когда она говорила, ему приходилось вслушиваться в смысл ее слов, сдерживая себя, чтобы не поверить, что она – волшебное существо, знающее тайны безмерного восторга.

Он выглянул сквозь листья тутового дерева. Мистер Сейс исчез из виду, но он видел, как светло-голубой дымок от его сигары медленно плывет по затененному воздуху. Он размышлял над поведением жены при упоминании имени Сейса, ломая голову над тем, что могло быть не так в доме весьма уважаемого человека, когда его жена появилась в окне столовой и позвала его к чаю. Она улыбнулась, когда он поднял глаза, и он поспешно встал и вошел, гадая, не стал ли он немного «странным», так странны были смутные эмоции и еще более смутные порывы, поднимавшиеся в нем.

Элис, вся в сияющем лиловом и с сильным запахом духов, внесла чайник и кувшин с горячей водой. Казалось, визит на кухню вдохновил и миссис Дарнелл на новый план распоряжения знаменитыми десятью фунтами. Плита всегда была для нее проблемой, и когда она иногда заходила на кухню и видела, как она говорила, что огонь «ревет до половины трубы», она напрасно упрекала служанку в расточительстве и трате угля. Элис была готова признать абсурдность разведения такого огромного огня просто для того, чтобы испечь (они называли это «зажарить») кусок говядины или баранины и сварить картошку и капусту; но она смогла

показать миссис Дарнелл, что виной всему была неисправная конструкция плиты, духовка, которая «не хотела нагреваться». Даже с котлетой или стейком было почти так же плохо; жар, казалось, уходил в трубу или в комнату, и Мэри несколько раз говорила мужу о шокирующей трате угля, а самый дешевый уголь стоил не меньше восемнадцати шиллингов за тонну. Мистер Дарнелл написал домовладельцу, строителю, который ответил неграмотным, но оскорбительным письмом, утверждая превосходство плиты и сваливая все недостатки на «вашу милостивую леди», что на самом деле подразумевало, что Дарнеллы не держат служанку, и миссис Дарнелл все делает сама. Плита, таким образом, оставалась постоянным источником раздражения и расходов. Каждое утро, по словам Элис, ей с большим трудом удавалось разжечь огонь, а разжегшись, он, «казалось, улетал прямо в трубу». Всего несколько вечеров назад миссис Дарнелл серьезно говорила об этом с мужем; она заставила Элис взвесить уголь, потраченный на приготовление картофельной запеканки, блюда вечера, и, вычтя то, что осталось в ведре после того, как запеканка была готова, оказалось, что эта несчастная штука потребила почти вдвое больше положенного количества топлива.

– Ты помнишь, что я говорила на днях о плите? – спросила миссис Дарнелл, разливая чай и доливая кипятка. Она сочла это хорошим вступлением, ибо, хотя муж ее был самым любезным человеком, она догадывалась, что он был немного задет ее решением против его плана с мебелью.

– О плите? – сказал Дарнелл. Он помолчал, намазывая мармелад, и на мгновение задумался. – Нет, не припоминаю. В какой это был вечер?

– Во вторник. Неужели не помнишь? У тебя была «сверхурочная работа», и ты вернулся домой довольно поздно.

Она на мгновение замолчала, слегка покраснев; затем начала перечислять прегрешения плиты и возмутительные расходы угля на приготовление картофельной запеканки.

– О, теперь припоминаю. Это был тот вечер, когда я думал, что слышу соловья (говорят, в Бедфорд-парке есть соловьи), и небо было такого удивительно глубокого синего цвета.

Он вспомнил, как шел от станции Аксбридж-роуд, где останавливался зеленый омнибус, и, несмотря на дымящиеся печи под Эктоном, в воздухе таинственно витал тонкий аромат лесов и летних полей, и ему показалось, что он чувствует запах красных диких роз, свисающих с изгороди. Подойдя к своей калитке, он увидел жену, стоящую в дверях со светильником в руке, и он сильно обнял ее, когда она его приветствовала, и прошептал что-то ей на ухо, целуя ее благоухающие волосы. Мгновение спустя он почувствовал себя совершенно смущенным и испугался, что напугал ее своими глупостями; она казалась дрожащей и растерянной. А потом она рассказала ему, как они взвешивали уголь.

– Да, теперь помню, – сказал он. – Это большая неприятность, не так ли? Ненавижу выбрасывать деньги на ветер.

– Ну, что ты думаешь? А что, если мы купим на тетины деньги действительно хорошую плиту? Это сэкономит нам много денег, и я думаю, еда будет намного вкуснее.

Дарнелл передал мармелад и признал, что идея была блестящей.

– Она гораздо лучше моей, Мэри, – сказал он совершенно откровенно. – Я так рад, что ты об этом подумала. Но мы должны это обсудить; не стоит покупать в спешке. Столько разных моделей.

Каждый из них видел плиты, которые казались чудесными изобретениями; он – в окрестностях Сити; она – на Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, во время визитов к дантисту. Они обсуждали этот вопрос за чаем, а потом обсуждали его, гуляя кругами по саду, в сладкой прохладе вечера.

– Говорят, «Ньюкасл» сжигает все, что угодно, даже кокс, – сказала Мэри.

– Но «Глоу» получил золотую медаль на Парижской выставке, – сказал Эдвард.

– А как насчет кухонной плиты «Эутопия»? Ты видел ее в работе на Оксфорд-стрит? – спросила Мэри. – Говорят, их система вентиляции духовки совершенно уникальна.

– Я на днях был на Флит-стрит, – ответил Эдвард, – и смотрел на патентованные плиты «Блисс». Они сжигают меньше топлива, чем любые другие на рынке, – так заявляют производители.

Он нежно обнял ее за талию. Она не оттолкнула его; она прошептала совсем тихо:

– Мне кажется, миссис Паркер у своего окна, – и он медленно убрал руку.

– Но мы еще поговорим об этом, – сказал он. – Спешки нет. Я мог бы зайти в некоторые места возле Сити, а ты могла бы сделать то же самое на Оксфорд-стрит, Риджент-стрит и Пикадилли, и мы могли бы сравнить записи.

Мэри была очень довольна хорошим настроением мужа. Так мило с его стороны не критиковать ее план; «Он так добр ко мне», – подумала она, и это она часто говорила своему брату, который не очень-то любил Дарнелла. Они сели на скамейку под тутовым деревом, близко друг к другу, и она позволила Дарнеллу взять ее руку, и когда она почувствовала, как его робкие, нерешительные пальцы коснулись ее в тени, она сжала их так нежно, и когда он ласкал ее руку, дыхание касалось шеи, и она услышала его страстный, нерешительный шепот: «Дорогая моя, дорогая», когда губы коснулись щеки. Она немного задрожала и замерла. Дарнелл нежно поцеловал ее в щеку и отнял руку, и когда он заговорил, он почти задышался.

– Нам лучше пойти в дом, – сказал он. – Сильная роса, ты можешь простудиться.

Теплый, ароматный ветерок донесся до них из-за стен. Ему хотелось попросить ее остаться с ним на всю ночь под деревом, чтобы они могли шептаться, чтобы аромат ее волос опьянял его, чтобы он мог чувствовать, как ее платье все еще касается его лодыжек. Но он не мог найти слов, и это было абсурдно, и она была так нежна, что сделала бы все, что он попросит, какой бы глупостью это ни было, просто потому, что он ее попросил. Он не был достоин целовать ее губы; он наклонился и поцеловал ее шелковый лиф, и снова почувствовал, что она дрожит, и ему стало стыдно, боясь, что он ее напугал.

Они медленно вошли в дом, бок о бок, и Дарнелл зажег газ в гостиной, где они всегда сидели по воскресным вечерам. Миссис Дарнелл почувствовала легкую усталость и прилегла на диван, а Дарнелл сел в кресло напротив. Некоторое время они молчали, а затем Дарнелл внезапно сказал:

– Что не так с Сейсами? Тебе показалось, что с ними что-то странное. Их служанка выглядит вполне скромно.

– О, я не знаю, стоит ли обращать внимание на сплетни слуг. Они не всегда очень правдивы.

– Это тебе Элис рассказала, да?

– Да. Она говорила со мной на днях, когда я была на кухне днем.

– Но что это было?

– О, я бы предпочла не рассказывать тебе, Эдвард. Это неприятно. Я отругала Элис за то, что она мне это пересказала.

Дарнелл встал и взял маленький, хрупкий стул рядом с диваном.

– Расскажи мне, – сказал он снова, со странным упрямством. Ему на самом деле не было дела до соседского дома, но он помнил, как днем зарделись щеки его жены, а сейчас он смотрел в ее глаза.

– О, я правда не могла бы тебе рассказать, дорогой. Мне было бы стыдно.

– Но ты моя жена.

– Да, но это ничего не меняет. Женщине не нравится говорить о таких вещах.

Дарнелл склонил голову. Его сердце билось; он приник ухом к ее губам и сказал: «Шепни».

Мэри притянула его голову еще ниже своей нежной рукой, и ее щеки пылали, когда она прошептала:

– Элис говорит, что... наверху... у них обставлена только... одна комната. Служанка сама ей сказала.

Бессознательным жестом она прижала его голову к своей груди, а он, в свою очередь, уже склонял ее алые губы к своим, когда по тихому дому разнесся яростный трезвон. Они сели, и миссис Дарнелл поспешно подошла к двери.

– Это Элис, – сказала она. – Она всегда приходит вовремя. Только что пробило десять.

Дарнелл содрогнулся от досады. Его губы, он знал, почти открылись. Милый платочек Мэри, тонко пахнущий духами из флакончика, подаренного школьной подругой, лежал на полу, и он поднял его, поцеловал и спрятал.

Вопрос о плите занимал их весь июнь и большую часть июля. Миссис Дарнелл использовала любую возможность, чтобы поехать в Вест-Энд и изучить возможности новейших моделей, серьезно осматривая новые усовершенствования и слушая, что говорят продавцы; в то время как Дарнелл, по его словам, «держал ухо остро» в Сити. Они собрали целую литературу по этому вопросу, принося домой иллюстрированные брошюры, и по вечерам развлекались, разглядывая картинки. Они с благоговением и интересом рассматривали чертежи больших плит для отелей и общественных учреждений, могучих конструкций, оснащенных серией духовок, каждая для своего назначения, с чудесными приспособлениями для гриля, с батареями аксессуаров, которые, казалось, облекали повара почти что достоинством главного инженера. Но когда в одном из каталогов они наткнулись на изображения маленьких игрушечных «дачных» плит за четыре фунта и даже за три фунта десять, они преисполнились презрения, опираясь на авторитет восьми- или десятифунтового изделия, которое они намеревались приобрести, когда достоинства различных патентов будут досконально изучены.

«Ворон» долгое время был фаворитом Мэри. Он обещал максимальную экономию при высочайшей эффективности, и много раз они были на грани того, чтобы сделать заказ. Но «Сияние» казалось столь же соблазнительным, и стоило оно всего 8 фунтов 5 шиллингов по сравнению с 9 фунтами 7 шиллингами 6 пенсами, и хотя «Ворон» поставлялся на королевскую кухню, «Сияние» могло похвастаться более восторженными отзывами от континентальных монархов.

Казалось, это был бесконечный спор, и он продолжался день за днем до того самого утра, когда Дарнелл очнулся ото сна о древнем лесе, о родниках, поднимающихся седым паром под зноем солнца. Пока он одевался, ему в голову пришла идея, и он, как гром среди ясного неба, выложил ее за торопливым завтраком, омраченным мыслью о городском омнибусе, который проходил мимо угла улицы в 9:15.

– У меня есть улучшение твоего плана, Мэри, – сказал он с триумфом. – Посмотри на это, – и он бросил на стол небольшую книжку.

Он рассмеялся. – Это бьет твою затею по всем статьям. В конце концов, главные расходы – это уголь. Дело не в плите, по крайней мере, это не главная беда. Уголь такой дорогой. А вот, пожалуйста. Посмотри на эти керосиновые плиты. Они не сжигают уголь, а самое дешевое топливо в мире – керосин; и за два фунта десять ты можешь получить плиту, которая будет делать все, что тебе нужно.

– Дай мне книжку, – сказала Мэри, – и мы поговорим об этом вечером, когда ты вернешься домой. Тебе уже пора?

Дарнелл бросил тревожный взгляд на часы.

– До свидания, – и они поцеловались серьезно и почтительно, и глаза Мэри заставили Дарнелла вспомнить о тех уединенных заводях, скрытых в тени древних лесов.

Так, день за днем, он жил в сером, призрачном мире, сродни смерти, который, каким-то образом, у большинства из нас отвоевал право называться жизнью. Для Дарнелла истинная

жизнь показалась бы безумием, и когда, время от времени, тени и смутные образы, отраженные от ее великолепия, пересекали его путь, он пугался и искал убежища в том, что он назвал бы здоровой «реальностью» обычных и привычных происшествий и интересов. Его нелепость, возможно, была тем более очевидна, поскольку «реальность» для него была вопросом кухонных плит, экономии нескольких шиллингов; но на самом деле глупость была бы больше, если бы она касалась скаковых конюшен, паровых яхт и траты многих тысяч фунтов.

Но так и жил Дарнелл, день за днем, странным образом принимая смерть за жизнь, безумие за здравомыслие, а бесцельных и блуждающих призраков за истинных существ. Он искренне считал, что он – клерк из Сити, живущий в Шепердс-Буше, забыв о тайнах и сияющей славе царства, которое принадлежало ему по праву наследования.

II

Весь день над Сити нависала свирепая, тяжелая жара, и, когда Дарнелл подходил к дому, он увидел, как туман лежит на всех влажных низинах, клубится витками над Бедфорд-парком на юге и поднимается к западу, так что башня эктонской церкви проступала из серого озера. Трава на скверах и лужайках, которые он видел, пока omnibus устало тащился вперед, выгорела до цвета пыли. Шепердс-Буш-Грин представлял собой жалкую пустыню, вытопанную до бурого цвета, окаймленную однообразными тополями, чьи листья неподвижно висели в застывшем, горячем, как дым, воздухе. Пешеходы устало брели по тротуарам, и смрад конца лета, смешанный с дыханием кирпичных заводов, заставил Дарнелла задохнуться, словно он вдыхал яд из какой-то грязной комнаты больного.

Он едва притронулся к холодной баранине, украшавшей чайный стол, и признался, что чувствует себя довольно «измотанным» погодой и дневной работой.

– У меня тоже был тяжелый день, – сказала Мэри. – Элис весь день была какая-то странная и доставляла хлопоты, и мне пришлось с ней серьезно поговорить. Знаешь, мне кажется, эти ее воскресные отлучки довольно дурно влияют на девушку. Но что поделаешь?

– У нее есть молодой человек?

– Конечно: помощник бакалейщика с Голдхок-роуд – из магазина Уилкина, знаешь. Я пробовала у них покупать, когда мы сюда переехали, но они меня не очень устроили.

– Что они делают весь вечер? У них ведь отпуск с пяти до десяти, да?

– Да, с пяти, а иногда с полшестого, когда вода никак не закипит. Ну, я думаю, они обычно гуляют. Пару раз он водил ее в Сити-Темпл, а в позапрошлом воскресенье они гуляли по Оксфорд-стрит, а потом сидели в парке. Но, кажется, в прошлое воскресенье они ходили на чай к его матери в Патни. Хотела бы я сказать этой старухе все, что о ней думаю.

– Почему? Что случилось? Она была груба с девушкой?

– Нет, в том-то и дело. До этого она несколько раз вела себя очень неприятно. Когда молодой человек впервые привел Элис к ней – это было в марте, – девушка ушла в слезах, она сама мне рассказала. И сказала, что больше никогда не хочет видеть старую миссис Марри. А я сказала Элис, что, если она не преувеличивает, я едва ли могу винить ее за такие чувства.

– Почему? Из-за чего она плакала?

– Ну, похоже, эта старая леди – она живет в совсем крошечном коттедже на какой-то задней улочке в Патни – была такой важной, что почти не разговаривала. Она одолжила у кого-то из соседей маленькую девочку и умудрилась нарядить ее под служанку, и Элис сказала, что не может быть ничего глупее, чем видеть, как эта кроха открывает дверь в черном платье, белом чепце и фартуке, едва справляясь с ручкой, как сказала Элис. Джордж (так зовут молодого человека) говорил Элис, что домик у них крошечный, но кухня, мол, уютная, хоть и очень простая и старомодная. Но вместо того, чтобы пойти прямо на кухню и сесть у большого огня на старой скамье, которую они привезли из деревни, этот ребенок спросил их имена (ты когда-нибудь слышал такую чушь?) и провел их в маленькую тесную гостиную, где старая миссис Марри сидела «как герцогиня» у камина, заложившего цветной бумагой, а в комнате было холодно как в леднике. И она была так величественна, что едва удостоила Элис разговором.

– Должно быть, это было очень неприятно.

– О, бедняжке пришлось ужасно. Она начала со слов: «Очень рада познакомиться, мисс Дилл. Я знаю так мало людей в услужении». Элис подражает ее жеманной манере говорить, но я так не могу. А потом она принялась рассуждать о своей семье, о том, как они пятьсот лет обрабатывали собственную землю – такая чушь! Джордж все рассказал Элис: у них был старый коттедж с хорошим участком сада и двумя полями где-то в Эссексе, а эта старуха говорила так, словно они были мелкими помещиками, и хвасталась, что ректор, доктор Кто-то-там, так часто

их навещал, и сквайр Кто-то-еще всегда заглядывал к ним, как будто они навещали их не из доброты. Элис сказала мне, что едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться миссис Марри в лицо, ведь ее молодой человек все ей рассказал об этом месте, и о том, каким маленьким оно было, и как сквайр любезно согласился купить его, когда старый Марри умер, а Джордж был маленьким мальчиком, и его мать не могла вести хозяйство. Однако эта глупая старуха «сгущала краски», как ты говоришь, и молодому человеку становилось все более и более неловко, особенно когда она заговорила о браках в своем кругу и о том, какими несчастными, по ее сведениям, бывали молодые люди, женившиеся на девушках ниже себя по положению, при этом бросая весьма многозначительные взгляды на Элис. А потом произошла такая забавная вещь: Элис заметила, что Джордж оглядывается с каким-то озадаченным видом, словно не мог чего-то понять, и наконец он не выдержал и спросил у матери, не скупил ли она украшения у соседей, потому что он помнит две зеленые вазы из граненого стекла на каминной полке у миссис Эллис и восковые цветы у мисс Тёрви. Он собирался продолжать, но мать сердито на него посмотрела и опрокинула несколько книг, которые ему пришлось поднимать. Но Элис прекрасно поняла, что она одолжила вещи у соседей, так же как одолжила маленькую девочку, чтобы выглядеть более важной. А потом у них был чай – водичка, как называет его Элис, – и очень тонкий хлеб с маслом, и дрянная иностранная выпечка из швейцарской кондитерской на Хай-стрит – сплошная кислая пена и прогорклый жир, как заявляет Элис. А потом миссис Марри снова начала хвастаться своей семьей, и унижать Элис, и говорить с ней намеками, пока девушка не ушла совершенно взбешенная и очень несчастная. Я не удивляюсь, а ты?

– Звучит не очень-то приятно, конечно, – сказал Дарнелл, мечтательно глядя на жену. Он не очень внимательно следил за содержанием ее рассказа, но любил слушать голос, который был для него заклинанием, звуки, вызывавшие перед ним видение волшебного мира.

– И мать молодого человека всегда была такой? – спросил он после долгой паузы, желая, чтобы музыка продолжалась.

– Всегда, до недавнего времени, до прошлого воскресенья, собственно. Конечно, Элис сразу же поговорила с Джорджем Марри и сказала, как разумная девушка, что, по ее мнению, для женатой пары никогда не бывает хорошо жить с матерью мужа, «особенно, – продолжала она, – поскольку я вижу, что ваша мать не очень-то меня полюбила». Он сказал ей в обычном стиле, что это просто такая манера у его матери, что на самом деле она ничего не имеет в виду, и так далее; но Элис долго держалась в стороне и, кажется, намекала, что может дойти до того, что придется выбирать между ней и его матерью. Так дела и шли всю весну и лето, а потом, как раз перед августовскими каникулами, Джордж снова заговорил с Элис об этом и сказал ей, как его огорчает мысль о любой неприятности, и как он хочет, чтобы его мать и она поладили друг с другом, и что она просто немного старомодна и со странностями, и очень мило говорила о ней с ним, когда никого не было рядом. В общем, в итоге Элис сказала, что может поехать с ними в понедельник, когда они договорились поехать в Хэмптон-Корт – девушка все время говорила о Хэмптон-Корте и хотела его увидеть. Ты помнишь, какой прекрасный был день, да?

– Дай-ка подумать, – мечтательно сказал Дарнелл. – О да, конечно – я весь день просидел под тутовым деревом, и мы там ели: настоящий пикник. Гусеницы досаждали, но день мне очень понравился. – Его слух был очарован, пленен этой серьезной, неземной мелодией, подобной старинной песне, или, скорее, песне первозданного мира, в которой всякая речь была дискантом, а все слова – священными знаками силы, говорящими не с разумом, а с душой. Он откинулся в кресле и сказал:

– Ну, что с ними случилось?

– Дорогой, ты поверишь, но эта невыносимая старуха вела себя хуже, чем когда-либо. Они встретились, как и договорились, у Кью-Бридж и с большим трудом заняли места в одном из этих шарабанов, и Элис думала, что ей будет очень весело. Ничего подобного. Едва они успели сказать «Доброе утро», как старая миссис Марри начала говорить о садах Кью, и как

там, должно быть, красиво, и насколько это удобнее, чем Хэмптон, и никаких расходов; всего-то и делов – перейти через мост. Потом, пока они ждали шарабан, она продолжала говорить, что всегда слышала, будто в Хэмптоне нечего смотреть, кроме кучи грязных, старых картин, и некоторые из них не подобает смотреть ни одной приличной женщине, не говоря уже о девушке, и она удивляется, почему королева позволяет показывать такие вещи, вбивая всякие мысли в головы девушкам, которые и так достаточно легкомысленны; и, говоря это, она так злобно посмотрела на Элис – ужасная старуха, – что, как она мне потом сказала, Элис бы дала ей пощечину, если бы та не была пожилой женщиной и матерью Джорджа. Потом она снова заговорила о Кью, говоря, какие там чудесные оранжереи, с пальмами и всякими удивительными вещами, и лилией величиной с гостиный стол, и вид на реку. Джордж был очень хорош, сказала мне Элис. Сначала он был совершенно ошеломлен, так как старуха клятвенно обещала быть как можно милее; но потом он сказал, мягко, но твердо: «Ну, мама, мы съездим в Кью в другой раз, так как Элис сегодня очень хочет в Хэмптон, да и я сам хочу его посмотреть!» Все, что сделала миссис Марри, – это фыркнула и посмотрела на девушку с кислым видом, и как раз в этот момент подъехал шарабан, и им пришлось бороться за свои места. Всю дорогу до Хэмптон-Корта миссис Марри что-то невнятно ворчала себе под нос. Элис не могла толком разобрать, что она говорит, но время от времени ей казалось, что она слышит обрывки фраз, вроде: «Жаль стареть, когда сыновья наглеют»; и «Почитай отца твоего и мать твою»; и «На полку тебя, – сказала хозяйка старому башмаку, а злой сын – своей матери»; и «Я тебя молоком поила, а ты меня за порог». Элис подумала, что это, должно быть, пословицы (кроме Заповеди, конечно), так как Джордж всегда говорил, какая у него старомодная мать; но она говорит, что их было так много, и все они были направлены на нее и Джорджа, что теперь она думает, что миссис Марри, должно быть, придумывала их по дороге. Она говорит, что это было бы очень на нее похоже, быть старомодной, и злой тоже, и болтливой, как мясник в субботу вечером. Ну, наконец они добрались до Хэмптона, и Элис подумала, что, может быть, это место ей понравится, и они смогут немного повеселиться. Но та только и делала, что ворчала, причем громко, так что люди на них оглядывались, и одна женщина сказала, так, чтобы они слышали: «Ну что ж, и они когда-нибудь состарятся», что очень разозлило Элис, потому что, как она сказала, они ничего такого не делали. Когда ей показали каштановую аллею в Буши-парке, она сказала, что она такая длинная и прямая, что ей становится скучно на нее смотреть, и она подумала, что олени (ты же знаешь, какие они милые на самом деле) выглядят худыми и несчастными, как будто им бы не помешала хорошая порция свиного пойла с большим количеством муки. Она сказала, что знает, что они несчастны, по выражению их глаз, которые, казалось, говорили ей, что их зрители их бьют. То же самое было со всем; она сказала, что помнит огороды в Хаммерсмите и Ганнерсбери, где было больше цветов, и когда ее привели к месту, где вода, под деревьями, она взорвалась, что это довольно жестоко – заставлять ее тащиться до изнеможения, чтобы показать ей обычный канал, на котором нет даже баржи, чтобы хоть немного его оживить. Она так вела себя весь день, и Элис сказала мне, что была только рада вернуться домой и избавиться от нее. Разве это не ужасно для девушки?

– Должно быть, и вправду. Но что случилось в прошлое воскресенье?

– Это самое удивительное. Я заметила, что Элис сегодня утром вела себя как-то странно; она дольше мыла посуду после завтрака и довольно резко ответила мне, когда я позвала ее, чтобы спросить, когда она будет готова помочь мне со стиркой; и когда я зашла на кухню по какому-то делу, я заметила, что она выполняет свою работу с угрюмым видом. Тогда я спросила ее, в чем дело, и тут все и выяснилось. Я едва поверила своим ушам, когда она пробормотала что-то о том, что миссис Марри думает, будто она может устроиться гораздо лучше; но я задавала ей один вопрос за другим, пока не вытянула из нее все. Это только показывает, какие глупые и пустоголовые эти девушки. Я сказала ей, что она ничем не лучше флюгера. Если ты мне поверишь, эта ужасная старуха стала совсем другим человеком, когда Элис пошла к ней

на днях. Почему, не могу себе представить, но так оно и было. Она сказала девушке, какая она красивая, какая у нее аккуратная фигура, как хорошо она ходит, и как она знала многих девушек, не вполнину таких умных или красивых, зарабатывающих по двадцать пять или тридцать фунтов в год, и в хороших семьях. Кажется, она вдавалась во всевозможные подробности и делала сложные расчеты того, сколько она сможет сэкономить, «у приличных людей, которые не скупятся, не экономят и не запирают все в доме», а потом пустилась в лицемерные разглагольствования о том, как она любит Элис и как она сможет спокойно лечь в могилу, зная, как счастлив будет ее дорогой Джордж с такой хорошей женой, и о том, как ее сбережения от хорошей зарплаты помогут им обустроить свой маленький дом, закончив словами: «И, если ты последуешь совету старой женщины, дорогая, не пройдет и много времени, как ты услышишь свадебные колокола».

– Понимаю, – сказал Дарнелл, – и итог всего этого, я полагаю, в том, что девушка совершенно недовольна?

– Да, она такая молодая и глупая. Я поговорила с ней, напомнила ей, какой противной была старая миссис Марри, и сказала, что она может сменить место и сменить к худшему. Думаю, я убедила ее, по крайней мере, спокойно все обдумать. Знаешь, что это, Эдвард? У меня есть идея. Я считаю, что эта злая старуха пытается заставить Элис уйти от нас, чтобы потом сказать сыну, какая она непостоянная; и, полагаю, она бы сочинила какую-нибудь из своих глупых старых пословиц: «Жена переменчива – жизнь мучительна» или какую-нибудь подобную чушь. Ужасная старуха!

– Что ж, – сказал Дарнелл, – надеюсь, она не уйдет, ради тебя. Для тебя это была бы такая морока – искать новую служанку.

Он снова набил трубку и спокойно закурил, немного отдохнув после пустоты и тягот дня. Французское окно было широко открыто, и теперь, наконец, донесся порыв бодрящего воздуха, настоящего ночью на тех деревьях, что еще сохраняли зелень в этой засушливой долине. Песня, которую Дарнелл слушал с восторгом, а теперь и ветерок, который даже в этом сухом, мрачном пригороде все еще нес весть о лесе, вызвали в его глазах сон, и он размышлял о вещах, которые его губы не могли выразить.

– Она, должно быть, и впрямь злобная старуха, – сказал он наконец.

– Старая миссис Марри? Конечно, она такая, эта вредная старушенция! Пытается увести девушку с удобного места, где она счастлива.

– Да, и не любить Хэмптон-Корт! Это больше всего говорит о том, какая она плохая.

– Он прекрасен, не правда ли?

– Я никогда не забуду, как впервые его увидел. Это было вскоре после того, как я начал работать в Сити, в первый год. У меня был отпуск в июле, и я получал такое маленькое жалование, что не мог и думать о поездке на море или о чем-то подобном. Помню, один из коллег хотел, чтобы я поехал с ним в пеший поход по Кенту. Мне бы это понравилось, но денег бы не хватило. И знаешь, что я сделал? Я тогда жил на Грейт-Колледж-стрит, и в первый же день отпуска я проспал до самого обеда, а потом весь день валялся в кресле с трубкой. Я купил новый сорт табака – шиллинг и четыре пенса за двух-унцевую пачку – гораздо дороже, чем я мог себе позволить, и наслаждался им безмерно. Было ужасно жарко, и когда я закрыл окно и опустил красную штору, стало еще жарче; к пяти часам комната была как печь. Но я был так рад, что не нужно идти в Сити, что мне было все равно, и время от времени я читал отрывки из одной странной старой книги, которая принадлежала моему покойному отцу. Я не мог понять, о чем там говорится, но это как-то подходило, и я читал и курил до самого чая. Потом я пошел прогуляться, думая, что немного свежего воздуха перед сном мне не повредит; и я побрел куда глаза глядят, не особо обращая внимания на то, куда иду, сворачивая то туда, то сюда, как вздумается. Я, должно быть, прошел мили и мили, и многие из них – кругами, как говорят, делают в Австралии, если заблудятся в буше; и я уверен, что не смог бы повторить тот же

самый путь ни за какие деньги. Как бы то ни было, я все еще был на улицах, когда спустились сумерки, и фонарики бегали от одного фонаря к другому. Это была чудесная ночь. Жаль, что тебя там не было, дорогая.

– Я тогда была совсем маленькой девочкой.

– Да, полагаю. Что ж, это была чудесная ночь. Помню, я шел по маленькой улочке с маленькими серыми домиками, все одинаковые, со штукатурными карнизами и дверными косяками; на многих дверях были медные таблички, и на одной было написано «Изготовитель ракушечных шкатулок», и я был очень рад, так как часто задавался вопросом, откуда берутся эти шкатулки и прочие вещи, которые покупаешь на море. Несколько детей играли на дороге с каким-то мусором, а в маленьком пабе на углу пели мужчины, и я случайно поднял глаза и заметил, в какой чудесный цвет окрасилось небо. Я видел его и после, но не думаю, что оно когда-либо было таким, как в ту ночь, – темно-синим, сияющим, как фиалка, – таким, говорят, бывает небо в чужих странах. Не знаю почему, но от этого неба или чего-то еще мне стало как-то не по себе; все вокруг словно изменилось, так, что я не мог понять. Помню, я рассказал одному старому джентльмену, которого я тогда знал, – другу моего покойного отца, он умер лет пять, если не больше, назад, – о том, что я чувствовал, и он посмотрел на меня и сказал что-то о волшебной стране; я не знаю, что он имел в виду, и, наверное, я не смог толком объяснить. Но, знаешь, на мгновение или два я почувствовал, будто эта маленькая улочка прекрасна, и шум детей и мужчин в пабе, казалось, сливался с небом и становился его частью. Знаешь это старое выражение «словно по воздуху ступать», когда радуешься? Так вот, я действительно так себя чувствовал, когда шел, – не совсем как по воздуху, конечно, но словно тротуар был бархатным или каким-то очень мягким ковром. А потом – я полагаю, это все было моим воображением – воздух, казалось, заблагоухал, как ладан в католических церквях, и дыхание мое стало прерывистым и сбивчивым, как бывает, когда чем-то очень взволнован. Я чувствовал себя совершенно иначе, чем когда-либо до или после.

Дарнелл внезапно замолчал и поднял глаза на жену. Она смотрела на него с приоткрытыми губами, с жадными, удивленными глазами.

– Надеюсь, я не утомляю тебя, дорогая, всей этой историей ни о чем. У тебя был утомительный день с этой глупой девчонкой; не лучше ли тебе пойти спать?

– О нет, пожалуйста, Эдвард. Я совсем не устала. Мне так нравится, когда ты так говоришь. Пожалуйста, продолжай.

– Ну, после того, как я прошел еще немного, это странное чувство, казалось, начало угасать. Я сказал «немного», и мне действительно казалось, что я шел минут пять, но я посмотрел на часы как раз перед тем, как свернуть на ту улочку, а когда посмотрел снова, было одиннадцать часов. Я, должно быть, прошел около восьми миль. Я едва поверил своим глазам и подумал, что мои часы сошли с ума; но потом выяснилось, что они идут совершенно правильно. Я не мог этого понять, и не могу до сих пор; уверяю тебя, время пролетело так, словно я прошел по одной стороне Эдна-роуд и вернулся по другой. Но вот я оказался на открытой местности, прохладный ветер дул на меня из леса, и воздух был полон тихих шелестящих звуков, и пения птиц из кустов, и журчания маленького ручейка, который протекал под дорогой. Я стоял на мосту, когда достал часы и зажег восковую спичку, чтобы посмотреть время; и вдруг я понял, какой странный это был вечер. Все было так непохоже, понимаешь, на то, что я делал всю свою жизнь, особенно за год до этого, и почти казалось, что я не могу быть тем человеком, который каждое утро ходил в Сити и каждый вечер возвращался оттуда, написав кучу неинтересных писем. Это было похоже на то, как будто тебя внезапно перебросили из одного мира в другой. Ну, я как-то нашел дорогу назад, и по пути решил, как я проведу свой отпуск. Я сказал себе: «У меня тоже будет пеший поход, как у Феррарса, только мой будет походом по Лондону и его окрестностям», и я все это решил, когда вошел в дом около четырех часов утра, и солнце уже светило, а на улице было почти так же тихо, как в лесу в полночь!

– Я думаю, это была отличная идея. Ты совершил свой поход? Ты купил карту Лондона?

– Поход я совершил. Карту я не покупал; это бы все испортило, как-то; видеть все нанесенным, названным и измеренным. Я хотел чувствовать, что иду туда, где никто до меня не был. Это же ерунда, правда? Как будто в Лондоне, или в Англии, если на то пошло, могут быть такие места.

– Я понимаю, что ты имеешь в виду; ты хотел чувствовать себя так, словно отправляешься в какое-то исследовательское путешествие. Не так ли?

– Именно, это я и пытался тебе сказать. Кроме того, я не хотел покупать карту. Я составил карту сам.

– Что ты имеешь в виду? Ты составил карту из головы?

– Я расскажу тебе об этом позже. Но ты действительно хочешь услышать о моем большом путешествии?

– Конечно, хочу; это, должно быть, было восхитительно. Я считаю это самой оригинальной идеей.

– Ну, я был полон энтузиазма, и то, что ты только что сказала об исследовательском путешествии, напоминает мне о том, что я чувствовал тогда. Когда я был мальчиком, я ужасно любил читать о великих путешественниках – я полагаю, все мальчики любят – и о морях, которых сбило с курса, и они оказались в широтах, где еще не плавал ни один корабль, и о людях, которые открывали чудесные города в чужих странах; и весь второй день моего отпуска я чувствовал себя так же, как когда читал эти книги. Я встал довольно поздно. Я смертельно устал после всех тех миль, что прошел; но когда я закончил завтрак и набил трубку, я прекрасно провел время. Это была такая ерунда, знаешь ли; как будто в Лондоне могло быть что-то странное или чудесное.

– А почему бы и нет?

– Ну, не знаю; но я потом думал, каким же глупым юнцом я, должно быть, был. Во всяком случае, у меня был замечательный день, я планировал, что буду делать, наполовину воображая – прямо как ребенок, – что не знаю, где могу оказаться или что может со мной случиться. И я был безмерно рад думать, что это все моя тайна, что никто другой об этом ничего не знает, и что, что бы я ни увидел, я сохраню это при себе. Я всегда так относился к книгам. Конечно, я любил их читать, но мне казалось, что, если бы я был первооткрывателем, я бы держал свои открытия в секрете. Если бы я был Колумбом, и если бы это было возможно, я бы открыл Америку в одиночку и никогда бы никому об этом не сказал ни слова. Представь себе! Как было бы прекрасно гулять по своему городу, разговаривать с людьми и все время думать о том, что ты знаешь о великом мире за морями, о котором никто другой и не мечтает. Мне бы это очень понравилось!

– И именно это я чувствовал по поводу похода, который собирался совершить. Я решил, что никто не должен знать; и так, с того дня и до этого, никто не слышал об этом ни слова.

– Но ты мне расскажешь?

– Ты – другое дело. Но я не думаю, что даже ты услышишь все; не потому, что я не хочу, а потому, что я не могу рассказать о многом из того, что видел.

– Вещи, которые ты видел? Значит, ты действительно видел в Лондоне чудесные, странные вещи?

– Ну, и да, и нет. Все, или почти все, что я видел, стоит на месте, и сотни тысяч людей видели те же самые достопримечательности – было много мест, которые ребята в конторе прекрасно знали, как я выяснил позже. А потом я прочитал книгу под названием «Лондон и его окрестности». Но (не знаю, почему так) ни люди в конторе, ни авторы книги, кажется, не видели того, что видел я. Вот почему я перестал читать эту книгу; она, казалось, вынимала жизнь, настоящее сердце из всего, делая это сухим и глупым, как чучела птиц в музее.

– Я думал о том, что собираюсь делать, весь тот день и лег спать рано, чтобы быть свежим. Я удивительно мало знал о Лондоне, на самом деле; хотя, за исключением редкой недели то там, то сям, я провел всю свою жизнь в городе. Конечно, я знал главные улицы – Стрэнд, Риджент-стрит, Оксфорд-стрит и так далее – и я знал дорогу в школу, в которую ходил, когда был мальчиком, и дорогу в Сити. Но я просто придерживался нескольких троп, как говорят, делают овцы в горах; и это еще больше облегчало мне возможность вообразить, что я собираюсь открыть новый мир.

Дарнелл прервал свой рассказ. Он пристально посмотрел на жену, чтобы увидеть, не утомил ли он ее, но ее глаза смотрели на него с неослабевающим интересом – можно было бы даже сказать, что это были глаза человека, который жаждал и наполовину ожидал быть посвященным в тайны, который не знал, какое великое чудо должно было быть явлено. Она сидела спиной к открытому окну, обрамленная сладким сумраком ночи, словно художник повесил за ней занавес из тяжелого бархата; и работа, которой она занималась, упала на пол. Она поддерживала голову обеими руками, прижав руки к вискам, и ее глаза были подобны родникам в лесу, о котором Дарнелл мечтал ночью и днем.

– И все странные сказки, которые я когда-либо слышал, были в моей голове в то утро, – продолжал он, словно продолжая мысли, которые наполняли его ум, пока его губы молчали. – Я лег спать рано, как я тебе говорил, чтобы как следует отдохнуть, и я завел будильник, чтобы он разбудил меня в три часа, чтобы я мог отправиться в путь в час, совершенно необычный для начала путешествия. В мире царила тишина, когда я проснулся, еще до того, как зазвонил будильник, чтобы меня разбудить, а потом птица начала петь и щебетать на вязе, который рос в соседнем саду, и я выглянул в окно, и все было тихо, и утренний воздух вливался чистый и сладкий, каким я его никогда раньше не знал. Моя комната была в задней части дома, и в большинстве садов были деревья, и за этими деревьями я мог видеть задние стены домов следующей улицы, поднимающиеся, как стена старого города; и пока я смотрел, взошло солнце, и великий свет вошел в мое окно, и начался день.

– И я обнаружил, что, как только я вышел за пределы знакомых мне улиц, ко мне вернулось то странное чувство, которое посетило меня двумя днями ранее. Оно было не таким сильным, улицы больше не пахли ладаном, но все же его было достаточно, чтобы показать мне, какой странный мир я прохожу мимо. Были вещи, которые можно видеть снова и снова на многих лондонских улицах: виноградная лоза или фиговое дерево на стене, поющий в клетке жаворонок, любопытный куст, цветущий в саду, странная форма крыши или балкон с необычной решеткой из железа. Едва ли найдется улица, где вы не увидите ту или иную из таких вещей; но в то утро они предстали перед моими глазами в новом свете, как будто на мне были волшебные очки из сказки, и точно так же, как человек в сказке, я шел и шел в этом новом свете. Я помню, как шел по дикой местности на возвышенности; там были лужи воды, сияющие на солнце, и большие белые дома посреди темных, качающихся сосен, а потом на повороте высоты я вышел на маленькую тропинку, которая уходила в сторону от главной дороги, тропинку, которая вела в лес, и на тропинке стоял маленький старый тенистый домик с башенкой на крыше и крыльцом из решетки, все тусклое и выцветшее до цвета моря; а в саду росли высокие белые лилии, точно такие же, как мы видели в тот день, когда ходили смотреть на старые картины; они сияли, как серебро, и наполняли воздух своим сладким ароматом. Именно оттуда, от того дома, я увидел долину и высокие места, далекие, в солнечном свете. Так, как я говорю, я шел «и шел», по лесам и полям, пока не пришел в маленький городок на вершине холма, городок, полный старых домов, склонившихся до земли под тяжестью лет, и утро было таким тихим, что синий дым поднимался прямо в небо со всех крыш, таким тихим, что я слышал далеко внизу, в долине, песню мальчика, который пел старую песню, идя по улицам в школу, и когда я проходил через пробуждающийся город, под старыми, серьезными домами, начали звонить церковные колокола.

– Вскоре после того, как я оставил этот город позади, я нашел Неведомую дорогу. Я увидел, как она ответвляется от пыльной главной дороги, и она выглядела такой зеленой, что я свернул на нее, и скоро почувствовал, будто действительно попал в новую страну. Я не знаю, была ли это одна из тех дорог, которые делали древние римляне, о которых мне рассказывал отец; но она была покрыта густым, мягким дерном, и высокие живые изгороди по обеим сторонам выглядели так, словно их не трогали сто лет; они выросли такими широкими, высокими и дикими, что смыкались над головой, и я мог лишь мельком видеть страну, через которую я проходил, как проходят во сне. Неведомая дорога вела меня все дальше и дальше, вверх и вниз по холмам; иногда заросли роз становились такими густыми, что я едва мог пробраться между ними, а иногда дорога расширялась в лужайку, и в одной долине через нее протекал ручей, перекрытый старым деревянным мостом. Я устал и нашел мягкое и тенистое место под ясенем, где, должно быть, проспал много часов, потому что, когда я проснулся, был уже поздний вечер. Так что я пошел дальше, и наконец зеленая дорога вышла на главную, и я поднял глаза и увидел другой город на высоком месте с большой церковью в центре, и когда я подошел к нему, изнутри доносились звуки большого органа, и пел хор.

В голосе Дарнелла, когда он говорил, звучал такой восторг, что его рассказ почти превратился в песню, и он глубоко вздохнул, когда слова закончились, наполненный мыслью о том далеком летнем дне, когда какое-то волшебство наполнило все обычные вещи, преобразив их в великое таинство, заставив земные дела сиять огнем и славой вечного света.

И какой-то отблеск этого света сиял на лице Мэри, когда она сидела неподвижно на фоне сладкого мрака ночи, ее темные волосы делали ее лицо еще более сияющим. Она немного помолчала, а потом заговорила:

– О, дорогой, почему ты так долго ждал, чтобы рассказать мне эти чудесные вещи? Я думаю, это прекрасно. Пожалуйста, продолжай.

– Я всегда боялся, что это все ерунда, – сказал Дарнелл. – И я не знаю, как объяснить то, что я чувствую. Я не думал, что смогу сказать столько, сколько сказал сегодня вечером.

– И так было день за днем?

– На протяжении всего похода? Да, я думаю, каждое путешествие было удачным. Конечно, я не заходил так далеко каждый день; я слишком уставал. Часто я отдыхал весь день и выходил вечером, после того как зажигали фонари, и то всего на милю или две. Я бродил по старым, тусклым площадям и слышал, как ветер с холмов шепчет в деревьях; и когда я знал, что нахожусь в пределах досягаемости какой-нибудь большой сверкающей улицы, я погружался в тишину переулков, где был почти единственным прохожим, и фонари были так редки и тусклы, что, казалось, испускали тени вместо света. И я медленно ходил взад и вперед, может быть, по часу, по таким темным улицам, и все это время я чувствовал то, о чем я тебе говорил, – что это моя тайна, что тень, и тусклые огни, и прохлада вечера, и деревья, похожие на темные низкие облака, – все это было моим, и только моим, что я живу в мире, о котором никто другой не знает, в который никто не может войти.

– Я помню одну ночь, когда я зашел дальше. Это было где-то на дальнем западе, где есть сады и огороды, и большие широкие лужайки, которые спускаются к деревьям у реки. В ту ночь взошла огромная багровая луна, пробиваясь сквозь туманы заката и тонкие, прозрачные облака, и я брел по дороге, которая проходила через сады, пока не дошел до небольшого холма, над которым сияла луна, как огромная роза. Потом я увидел, как между мной и луной проходят фигуры, одна за другой, длинной вереницей, каждая согнувшись вдвое, с большими мешками на плечах. Один из них пел, и тут посреди песни я услышал ужасный пронзительный смех, тонким, трескучим голосом очень старой женщины, и они исчезли в тени деревьев. Я полагаю, это были люди, идущие на работу или возвращающиеся с работы в садах; но как это было похоже на кошмар!

– Я не могу тебе рассказать о Хэмптоне; я никогда не закончу говорить. Я был там однажды вечером, незадолго до того, как закрыли ворота, и людей было очень мало. Но серо-красные, безмолвные, гулкие двory, и цветы, погружавшиеся в дрему с наступлением ночи, и темные тисы и призрачные статуи, и далекие, неподвижные водные глади под аллеями; и все это таяло в синей дымке, все скрывалось от глаз, медленно, верно, как будто опускали покрывала, одно за другим, на великой церемонии! О, дорогая, что это могло значить? Далеко, за рекой, я услышал, как мягко прозвенел колокол три раза, и еще три раза, и снова три раза, и я отвернулся, и мои глаза были полны слез.

– Я не знал, что это, когда пришел туда; я только потом выяснил, что это, должно быть, был Хэмптон-Корт. Один из парней в конторе сказал мне, что он водил туда девушку из чайной, и они отлично повеселились. Они заблудились в лабиринте и не могли выбраться, а потом пошли кататься по реке и чуть не утонули. Он сказал мне, что в галереях есть несколько пикантных картин; его девушка визжала от смеха, так он сказал.

Мэри совершенно проигнорировала это отступление.

– Но ты сказал мне, что составил карту. На что она была похожа?

– Я покажу ее тебе как-нибудь, если захочешь посмотреть. Я отметил все места, где я был, и сделал знаки – что-то вроде странных букв, – чтобы напомнить мне о том, что я видел. Никто, кроме меня, не мог бы ее понять. Я хотел рисовать картинки, но я никогда не учился рисовать, поэтому, когда я пробовал, ничего не получалось так, как я хотел. Я пытался нарисовать тот город на холме, в который пришел вечером первого дня; я хотел нарисовать крутой холм с домами наверху, и посередине, но высоко над ними, большую церковь, всю в шпилях и башенках, а над ней, в воздухе, чашу с исходящими от нее лучами. Но это не увенчалось успехом. Я сделал очень странный знак для Хэмптон-Корта и дал ему имя, которое придумал сам.

Дарнеллы избегали взгляда друг друга, когда сидели за завтраком на следующее утро. Воздух за ночь посветлел, потому что на рассвете прошел дождь; и небо было ярко-синим, с огромными белыми облаками, плывущими по нему с юго-запада, и свежий и радостный ветер дул в открытое окно; туманы исчезли. И с туманами, казалось, исчезло и то чувство странного, которое владело Мэри и ее мужем накануне вечером; и когда они смотрели на ясный свет, они едва могли поверить, что один говорил, а другой слушал несколько часов назад истории, очень далекие от обычного течения их мыслей и их жизни. Они робко переглядывались и говорили о самых обыденных вещах: о том, будет ли Элис возвращена коварной миссис Марри, или сможет ли миссис Дарнелл убедить девушку, что старухой, должно быть, движут худшие мотивы.

– И я думаю, на твоём месте, – сказал Дарнелл, выходя, – я бы зашел в магазин и пожаловался на их мясо. Последний кусок говядины был далеко не на высоте – в нем полно жил.

III

Вечером все могло бы быть иначе, и Дарнелл продумал план, от которого многого ждал. Он собирался спросить жену, не будет ли она против, если они оставят гореть только один газовый рожок, да и тот приглушат, под предлогом, что его глаза устали от работы. Он думал, что многое могло бы случиться, будь комната освещена тускло, а окно открыто, чтобы они могли сидеть, смотреть на ночь и слушать шелестящий ропот дерева на лужайке. Но его планам не суждено было сбыться, ибо, когда он подошел к садовой калитке, ему навстречу вышла его жена в слезах.

– О, Эдвард, – начала она, – случился такой ужас! Он мне никогда особо не нравился, но я не думала, что он способен на такие ужасные вещи.

– Что ты имеешь в виду? О ком ты говоришь? Что случилось? Это молодой человек Элис?

– Нет, нет. Но войди, дорогой. Я вижу, что та женщина напротив наблюдает за нами, она всегда начеку.

– Ну, что такое? – сказал Дарнелл, когда они сели пить чай. – Говори скорее! Ты меня совсем напугала.

– Не знаю, с чего начать. Тетя Мэриан уже несколько недель подозревала, что что-то не так. А потом она обнаружила... в общем, короче говоря, дядя Роберт завел жуткую интрижку с какой-то мерзкой девчонкой, и тетя все узнала!

– Боже! Да что ты говоришь! Старый негодяй! Да ему ведь скорее под семьдесят, чем за шестьдесят!

– Ему ровно шестьдесят пять, а деньги, которые он ей дал...

Когда первый шок от удивления прошел, Дарнелл решительно повернулся к своему рубленому мясу.

– Мы все это обсудим после чая, – сказал он. – Я не собираюсь портить себе ужин из-за этого старого дурака Никсона. Налей-ка мне еще чаю, дорогая.

– Отличное мясо, – спокойно продолжал он. – Немного лимонного сока и кусочек ветчины? Я так и подумал, что есть что-то особенное. С Элис сегодня все в порядке? Вот и хорошо. Полагаю, она уже забывает все эти глупости.

Он продолжал спокойно болтать, чем поразил миссис Дарнелл, которая чувствовала, что с падением дяди Роберта естественный порядок вещей был нарушен, и едва притронулась к еде с тех пор, как новость пришла со второй почтой. Она отправилась на встречу, которую ее тетя назначила рано утром, и провела большую часть дня в зале ожидания первого класса на вокзале Виктория, где и выслушала всю историю.

– Ну, – сказал Дарнелл, когда со стола убрали, – расскажи нам все. Как долго это продолжается?

– Тетя теперь думает, судя по мелочам, которые она вспоминает, что это продолжается по меньшей мере год. Она говорит, что в поведении дяди уже давно была какая-то ужасная таинственность, и ее нервы были совершенно расшатаны, так как она думала, что он, должно быть, связан с анархистами или чем-то в этом роде.

– С чего это она взяла?

– Ну, видишь ли, раз или два, когда она гуляла с мужем, ее пугали какие-то свистки, которые, казалось, преследовали их повсюду. Ты же знаешь, в Барнете есть несколько приятных загородных тропинок, и одна в особенности, в полях возле Тоттериджа, по которой дядя и тетя любили гулять ясными воскресными вечерами. Конечно, это было не первое, что она заметила, но в то время это произвело на нее огромное впечатление; она неделями не могла сомкнуть глаз.

– Свист? – сказал Дарнелл. – Я не совсем понимаю. Почему ее должен был напугать свист?

– Сейчас расскажу. В первый раз это случилось в одно воскресенье в мае прошлого года. За неделю или две до этого тете показалось, что их преследуют, но она ничего не видела и не слышала, кроме какого-то треска в живой изгороди. Но в то воскресенье, едва они перелезли через перелаз на поле, как она услышала странный тихий свист. Она не обратила внимания, думая, что это не имеет к ней или к ее мужу никакого отношения, но, когда они пошли дальше, она услышала его снова, и снова, и он преследовал их всю прогулку, и это ее так беспокоило, потому что она не знала, откуда он доносится, кто это делает и зачем. Затем, как раз когда они вышли с полей на проселок, дядя сказал, что ему стало дурно, и он решил выпить немного бренди в «Голове Тёрпина», маленьком пабе, который там есть. И она посмотрела на него и увидела, что его лицо стало совершенно багровым – больше похоже на апоплексию, как она говорит, чем на обморок, от которого люди становятся зеленовато-белыми. Но она ничего не сказала и подумала, что, возможно, у дяди свой, особый способ падать в обморок, так как он всегда был человеком, который все делал по-своему. Так что она просто подождала на дороге, а он пошел вперед и юркнул в паб, и тетя говорит, что ей показалось, будто она видела, как из сумерек поднялась маленькая фигурка и скользнула за ним, но она не была уверена. А когда дядя вышел, он выглядел красным, а не багровым, и сказал, что чувствует себя гораздо лучше; и так они тихо пошли домой вместе, и больше ничего не было сказано. Понимаешь, дядя ничего не сказал о свисте, а тетя была так напугана, что не осмеливалась говорить, боясь, что их обоих могут застрелить.

– Она уже перестала об этом думать, когда два воскресенья спустя случилось то же самое. На этот раз тетя набралась духу и спросила дядю, что это может быть. И что, ты думаешь, он ответил? «Птицы, дорогая, птицы». Конечно, тетя сказала ему, что ни одна птица, летающая на крыльях, не издает такого звука: хитрого, тихого, с паузами; а потом он сказал, что в северном Мидлсексе и Хартфордшире живет много редких видов птиц. «Глупости, Роберт, – сказала тетя, – как ты можешь так говорить, учитывая, что он преследовал нас всю дорогу, милю или больше?» А потом дядя сказал ей, что некоторые птицы так привязаны к человеку, что могут следовать за ним милями; он сказал, что только что читал о такой птице в книге путешествий. И знаешь ли ты, что когда они вернулись домой, он действительно показал ей отрывок в «Хартфордширском натуралисте», который они выписывали, чтобы сделать приятное одному своему другу, – все о редких птицах, найденных в окрестностях, – самые диковинные названия, говорит тетя, которых она никогда не слышала и не думала, и у дяди хватило наглости сказать, что это, должно быть, был пурпурный песочник, который, как говорилось в газете, издает «тихий пронзительный крик, постоянно повторяющийся». А потом он снял с книжной полки книгу о сибирских путешествиях и показал ей страницу, где рассказывалось, как за человеком весь день следовала птица по лесу. И вот это, говорит тетя Мэриан, раздражает ее больше всего: подумать только, что он мог быть таким хитрым и находчивым с этими книгами, извращая их для своих злых целей. Но в то время, когда она гуляла, она просто не могла понять, что он имел в виду, говоря о птицах так бессвязно и глупо, что было на него совсем не похоже, и они пошли дальше, а этот ужасный свист следовал за ними, она смотрела прямо перед собой и шла быстро, чувствуя себя скорее обиженной и раздосадованной, чем напуганной. И когда они подошли к следующему перелазу, она перелезла, обернулась и, «о чудо», как она говорит, дяди Роберта нигде не было! Она почувствовала, как побледнела от страха, думая об этом свисте и будучи уверенной, что его унесло или похитило каким-то образом, и она только что закричала «Роберт» как сумасшедшая, когда он совершенно спокойно вышел из-за угла, невозмутимый, как огурец, держа что-то в руке. Он сказал, что есть цветы, мимо которых он никогда не может пройти, и когда тетя увидела, что он держит одуванчик, вырванный с корнем, она почувствовала, что у нее голова идет кругом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.